

**Павел Кренев**



# **ДОБРЫЕ ЛЮДИ**

**ПОВЕСТИ  
РАССКАЗЫ**



Павел Кренёв  
**Добрые люди**

Издательский дом «Сказочная дорога»

2015

УДК 821.161.1-311.6  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Кренёв П. Г.**

Добрые люди / П. Г. Кренёв — Издательский дом «Сказочная дорога», 2015

ISBN 978-5-4329-0086-9

В книгу известного самобытного писателя вошли рассказы и повести, сюжеты которых почерпнуты главным образом из жизни поморов — людей, издревле живущих на берегах студеного Белого моря. И автор книги — из коренных поморов, он родился на этой земле. Его корни уходят к старинным новгородским переселенцам и ушкуйникам, несколько столетий назад пришедшим на эти дикие берега. Обычаи древних новгородцев, их вековые культурные традиции, укоренившиеся на беломорских просторах, на морском приволье посреди удивительно красивой северной природы, завораживающих взгляд морских ландшафтов, создали не только новый тип крепких людей — поморов, но и новый вид русской культуры — культуру Беломорского Поморья. Она живет в песнях и танцах Северного народного хора, в сказаниях Марии Кривополеновой и Марфы Крюковой, в сказках Писахова и Шергина. Павел Кренев продолжает эту традицию. Его произведения отражают поморский быт и обычаи, характеры и судьбы людей, насыщены удивительным колоритом и певучестью местного наречия — «поморской говори». Ярки краски беломорской природы, точны описания повадок птиц и зверей, великолепны морские пейзажи. Читателя не покидает ощущение присутствия в этом солоноватом морском воздухе, насыщенном ароматами водорослей, терпкостью просмоленных карбасов, запахами рыбацких снастей на деревянных «вешалах», продуваемых шалым «побережником»... Откройте книгу, и вы почувствуете это сами.

УДК 821.161.1-311.6  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Кренёв П. Г., 2015

ISBN 978-5-4329-0086-9

© Издательский дом «Сказочная  
дорога», 2015

## Содержание

Пунашки, воротча и госьба	7
Беспалый	25
Моряк со «Стремительного»	36
Первый бал Пеструхи	53
Конец ознакомительного фрагмента.	59

## **Павел Кренев**

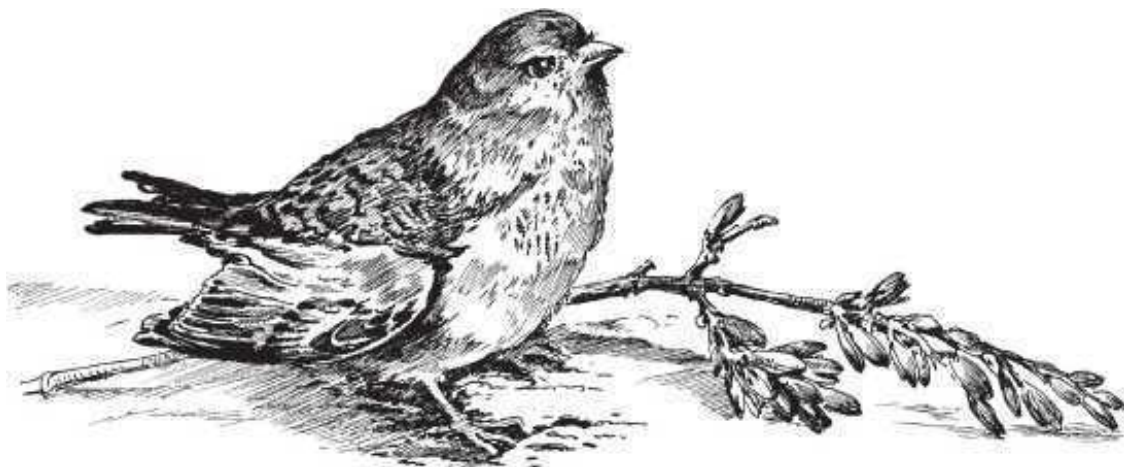
### **Добрые люди**



Павел Кренев

Художник *Оксана Хейлик*

## Пунашки, воротча и госьба



Весна у нас на Летнем берегу Белого моря долгая. Месяц март за весенний даже и держать нельзя. Не зря в Средней полосе России говорят: «Пришел марток – надевай семь порток», а у нас до середины марта – чистый февраль. И выюги, и морозы, и колотун, особенно на открытых местах. Сидят рыбачки у лунок на озерах и прячут красные физиономии от «сиверка», а тот, как будто зима во дворе, заметает порошей лежащих на льду окуней. И солнце уже высококонько висит, и дни вполне длинные, но не могут они пока, не могут совладать с холодами.

Только к концу марта начинает старичье выползать из-под надоевших хоромин.

С утра пошел по крышам светлый денек, заиграл искорками в сосульках, затенькали по ноздреватому от первого тепла снегу быстрые острые капельки, и вот, кряхтя и бурча, незлобиво, по-доброму переругиваясь, выползают на свет Божий старички и старушки (в основном – старушки), рассаживаются по своим крылечкам и, опираясь на потертые батожки, начинают с ребяческим интересом, со вниманием разглядывать распахнувшееся перед ними Божье мироздание. Как надоед им за зиму кисловатый душный запах старых жилищ! Дожили до новой весны! Опять солнышко греет старческие щеки, опять прыгают по улице и ковыряются в размякших лошадиных кучках веселые галки.

На море, что напротив деревни, лед еще стоит крепкой коркой, и белое ледяное поле бесконечной широкой полосой уходит в морскую даль.

И вот наконец в этой дали, на самом горизонте, появляется темная полоса: это сильные весенние южные ветры поднимают потеплевшую волну и разбивают ледяную кромку. Опять к уставшим от зимы людям приходит их вечный добрый сосед – море-моряшко.

Деревенским мужикам, кто помоложе да поострее глазом, не терпится сходить на «зверя» – морского тюленя – нерпу и морского зайца – лахтака.

Поэтому идет пристрелка винтовок трехлинеек. Винтовки выдал им колхоз, которому спущен план на тюленьи шкуры да тюленье сало.

Мужик ставит к морской кромке полено, сам ложится за бревно у деревенских амбаров, долго целится, наконец раздается оглушительный хлопок, который улетает за угоры, окружающие деревню, и пропадает в лесных далах.

А вокруг стрелка, пооткрывав рты, стоит стайка местных оборванцев, среди которых и автор бесценных этих строк, с замиранием сердца вглядывается во все приготовления, манипуляции с винтовкой и канючит:

– Дядя Толя, дай нам тоже стрелить.

Дядя Толя, конечно же, суров, потому как он не просто сейчас мужичок на конюшне или там на тракторе, а человек, которому Родина доверила такую великую драгоценность, как ружье! И он не дрова, допустим, колет, а готовится к зверовому промыслу!

На мальчишеское нытье он и не реагирует. Лишь позволяет кому-нибудь из нас принести с берега простреленную чурку и поставить новую. Но в конце пристрелки все же наступает счастливая минута: дядя Толя дает каждому из нас лечь за винтовку и прицелиться. При этом старательно разъясняет, как совмещать «мушку» с «целиком», наводит их на мишень, как медленно надо нажимать на спусковой крючок. Это такое блаженство!

Настоящая весна начинается с начала апреля. Солнце уже высоко и долго стоит в синем небе, все ближе и ближе подбирается к зенитной маковке, все теплее греет и, глядя на деревню, поля и лес, как бы спрашивает: «Ну вот, я так стараюсь, а когда же вы все собираетесь избавиться от вашего дремучего холода?»

И будто уступая этим настойчивым просьбам, природа медленно-медленно начинает избавляться от надоевшей ей стужи.

С теплой стороны логовин сквозь снег просачивается до земли талая вода. Скатываясь по пологим склонам, она достигает дна и попадает в мелкие ручьи, слабо журчащие, мирно себе текущие под снегом по узким ложбинам. Наплыв талой воды вспучивает ручейки, их спокойное незамысловатое течение превращается в бурные потоки. Темная, насыщенная полевой грязью вода вырывается из-под снега и, смешанная с ним, с весенним мусором, волнуется, шипит, бурлит, пенится, несется по неразломанному льду к морю. Даже ничемные ручьишки превращаются в речки.

Это надвигающийся гром весны, вступающей в свои права.

Первыми из перелетных птиц в наши края прилетают галки и чайки. Галки, не боясь людей и собак, деловито, по-хозяйски, скрипуче переговариваясь друг с дружкой, не торопясь, начинают вышагивать по деревенским подтаявшим дорогам, ковыряются в высунувшихся из-под снега черновинах, шныряют на взвозах, ворошат утоптанное старое сено, гуляют по навозным кучам. А чайки кричат там, у открывшегося моря. Их гомон, памятный с прошлого, давно ушедшего лета, манит, зовет весну.

В самом конце марта – в начале апреля прилетают долгожданные пунашки.

Веселые стайки этих вездесущих птичек обрушиваются на деревню, как радостный благовест, как долгожданное событие. Их звонкое пение, похожее на треньканье маленьких колокольчиков, звенит то там, то здесь.

Птички эти, размером больше воробья, удивительно красивы. С бело-сери-черным оперением, они отчетливо видны на фоне синего неба, но трудноразличимы на подтаявшем грязноватом весеннем снегу.

Пунашки – мальчишечья радость. Испокон веку мужское подрастающее поколение любит ловить пунашек в силки. Это подлинное спортивное состязание, это охота, это страсть! Кто поймал больше, кто оказался удачливее, кому подфартило сильнее! Это подлинная разминка после зимнего тяготья перед веселым летом.

А чего, уважаемые сограждане, стоит сама подготовка к ловле пунашек! Увлекательнейшее занятие, скажу я вам! Занимательный процесс! Посудите сами.

Сначала надо подготовить плашки, которые и являются главным охотничьим устройством для организации пунашкового промысла.

Весь фокус в том, что у кого лучше плашки – тот на коне, с ним удача и фортуна, тот ходит промежду всеми гоголем, и в деревне бабки, тетки и мужики сказывают: «Васька, младший-от, Гаврилы-то Логиновича который, на эту весну самой удачливой в деревне. Уж четырнадцать пунашков взял, простреленок. Весь в батька! Тот-то охотник дак!»

А Таврило Логинович, местный лесник и по совместительству – лютый браконьер, имеющий от природы важную походку, еще больше важничает и ходит по деревне вперед пухом. У

него ведь не только сын знаменит пунашками, он и сам не оплошал: взял в эту зиму медведя на берлоге и крупную рысь-кота из-под собаки. А сколько лося, неучтенного в лицензиях, добыл, это только ему самому известно... Да и все довольны – полдеревни в эту зиму мяско браконьерское кушало, и вот интересный факт: никто не подавился. Поэтому Гаврилу Логиновича деревня уважает. Завидует, но уважает. А теперь еще вот Васька вперед вышел... Конечно, он помог своему Ваське сделать плашки, это знают все, но от этого Васькин успех не становится менее славным. Изготовить добротные уловистые плашки – дело на первый взгляд пустяшное, незамысловатое. Какая тут хитрость – доски да конский волос. Но те, кто так считает, приходят домой пустые и грызут ногти от непонятной неудачи, сидя на печке. Грамотные, добычливые охотники десяти – двенадцати лет производят их следующим образом.

Сначала надо пойти на конюшню и выклянчить у конюхов конский волос.

Ну, это так простецки звучит: пойти да выпросить. А ты пойди и выпроси. А я на тебя погляжу, на наивного человека...

Конюх, брат ты мой, это сугубо занятой человек. Ему надо лошадь вывести, запрячь, встретить, распрячь, поставить в стойло, сани на место поставить. Ему надо упряжь содержать, чинить, хранить.

Он должен сенца подкинуть, овса трухнуть, а для этого и сено и овес надо откуда-то принести... Опять же лошадка должна быть в чистоте; она в своем стойле должна отдохнуть от тяжелой работы за день, потому что завтра у нее опять трудная нудная ходьба между оглоблями.

Да и сам он, конюх, он, как и лошадь, тоже ведь человек, и ему требуется перекурить, передохнуть. А тут ты, малолетний сын деревни, подходишь, отвлекаешь его от работы или от перекура и с наглой молокососной бессовестной физиономией заявляешь:

– Слышь, дядя Федя, мне нужен конский волос для силков – пунашек хочу ловить.

Конюхи таких бесцеремонных людей не любят.

Где уважительный подход? Где слова о его дяди-Фединой значимости как конюха и как доброго человека?

Он, может быть, тебя и не треснет (твой батька ему сам может крепко наkostenять), но промолчит, скривит конюховскую свою образину, сплюнет на подталый лед какую-то сине-зеленую гадость и молча уйдет в темное чрево конюшни, где пофыркивают и пританцовывают в своих стойлах деревенские кони.

Еще раз к нему подходить бесполезно – дядя Федя разговаривать с тобой больше не будет.

Я такую картину однажды увидел и обратился за советом к отцу.

Папа мне сказал:

– Дак сосед-то наш, Николай Семенович, в этом годе на конюшне работает. Иди к нему. Я ему прошлым летом рюжу давал – навагу ловить. Не должен отказать.

И я поймал около конюшни Николая Семеновича, дорогого своего соседа, у которого с отцом в самом деле были хорошие отношения.

Дело было после школьных занятий. День клонился к вечеру, но еще вовсю светило апрельское солнышко, и справный конюх дядя Коля сидел на южном крылечке конюшни, на разогреве, в одной рубашке, с накинутой на плечи ватной «горбушкой», и чинил упряжь.

Толстую иглу он просовывал в дырки, протаскивал капроновую нитку, сшивал кожаные пластинки сбруи: от долгого употребления нитки в местах крепления с кольцами перетираются, поэтому нужен постоянный догляд. Хуже нет, когда в пути расплзется упряжь. Особенно зимой в лесу, да с возом, да на морозе, да когда один-одинешенек. Сиди, кукуй, мерзни – некому помочь.

Дядя Коля сидел с уже раскрасневшейся от солнышка физиономией, крутил своей иглой и мурлыкал невесть какую песенку.

Когда меня увидел, обрадовался:

– Пашка, вот ёштвуюлять, ты откуда здесь?

У Николая Семеновича была странная, непонятная никому поговорка – «ёштвуюлять». Он применял ее повсеместно, при любом разговоре и в любой обстановке: хоть за чаем дома, хоть на людях. За глаза его кое-кто так и звал – Коля Ёштвуюлять. Но все его любили за незлобивость и безотказность.

– К тебе пришел, дядя Коля. Дело вот есть.

– Како тако дело? Сказывай, сосед.

Я запереминался, стал что-то мямлить – неловко было сразу просить, мол, отрежь волосев от хвоста... Потом все же сформулировал главную задачу:

– Плашки надо бы поставить, пунашек бы наловить, дядя Коля.



Николай Семенович воткнул иглу в дырку, зияющую в деревянном настиле, отложил кожаные ремешки, поерзал на бревнышке и развернул худощавое свое тело ко мне. Красивое его лицо всеми молодыми морщинками, всей давненько небритой щетиной устремилось со вниманием к моей персоне.

– Тэк-тэк, Пашка. Стало быть, за сільями пришел?

– Ага, за сільями, дядя Коля.

Слава богу, не пришлось долго ничего объяснять. Догадливый у меня сосед.

Николай Семенович вытянул вперед правую ногу и как-то двумя руками сразу полез в карман штанов. Он пошаркал в своем кармане и вынул оттуда крепко измятую пачку «Севера», вернее, то, что от нее осталось. Мне было интересно, как в таком комке измятой бумаги может сохраниться хоть одна захудалая папироса. Но вот удивительно, он подергал в разные стороны, выпрастанный из грязных конюховых панталонов бумажный комок, кое-как расправил его и вытащил из какого-то боку бесформенный предметик, отдаленно похожий на папиросу. Дядя Коля, бурча какие-то слова, из которых ясно слышалось только одно несколько раз повторенное «ёштвоюлять», положил предметик на свою широкую крестьянскую ладонь, другой прихлопнул, покатав туда-сюда, приоткрыл верхнюю ладонь – и вот передо мной уже лежит обычная папироса. Прямо фокусник! Я на все это смотрел с восторгом.

Николай Семенович, как ни в чем не бывало, зажег свою папиросу, вытаращил зеленые глаза, уставил их в какую-то небесную точку и вдохнул наконец всей неширокой своей грудью, как самый изысканный и вкусный, ароматный дым неизвестно на какой фабрике сварганенных деревенских папирос «Север». Несколько секунд он не выдыхал, уставясь в небо, видимо, наслаждаясь тем, как табачный дым заполняет легкие, переваливается там с боку на бок, согревая и услаждая живую ткань. Потом блаженно, со сладким надрывом сказал: «Хо-о-о», и из его округленного рта, как из маленькой печной трубы, вырвались остатки того, что не застряло в закоулках груди.

Меня от этой картины передернуло. Однажды на повети у моего приятеля Васьки Федотова мы спрятались и тайком распечатали пачку «Севера».

Я совершил судорожную попытку сделать затяжку... Меня тогда вырвало, Ваську тоже. Кроме того, мне досталось от батьки, который все откуда-то узнал... Курить после этого мне больше не хотелось.

– У тебя плашки-то есть? А знаешь ли ты, как их делать да ставить? – задал мне такие вопросы дядя Коля.

Что мне было ответить? Теоретически я кое-что знал: и отец поднаучил кое-чему, и ребята рассказывали, но с реальным делом я еще не сталкивался.

– Конечно знаю, – сказал я бахвальски. – Что я, маленький какой?

Я боялся одного: конского волоса дядя Коля мне не даст, если поймет, что я совсем ничего не умею.

Чего на неумеху добро переводить? Или сунет то, что только взять да выбросить.

Дяде Коле на ту минуту делать было особенно нечего: кони на выгоне, все почти работают там да сям, одна только вот эта упряжь... И он стал со мной говорить.

Вообще, в нашей деревне взрослые мужики с такими молокососами, как я, особо-то и не разговаривают. Чё время зря тратить, чё рассусоливать и воду в ступе толочь? Вот если подзатыльник, если за дело, – это пожалуйста.

Но Николай Семенович отложил свои дела и стал разговаривать со мной как с равным, очень рассудительно, обстоятельно, как с таким же, как и он, мужиком.

Это меня потрясло и наполнило великой гордостью и важностью.

– Перво-наперво, как должны быть плашки? Это досочки, как в амбаре или дровянике найдешь. Но не длинные, а так полметра примерно. А лучше всего, Паша, смотри. – И он нарисовал пальцем на втоптанном в старый снег мусоре оконную раму. – Найди где-нибудь или выпроси у кого-нибудь, ёштвоюлять, старую раму, которая на выброс. Самолучша плашка будет, вот что я тебе скажу, Паша. А ставить ее надо так. Вот рама, а вот в этих проемах ты закапывашь еще по одной или по две плашечки, и у тебя весь этот кусок земли будет закрыт. Бери с меня пример. Я раньше все время так ставил, – пунашкам некуда деваться. Самый уловистый вариант. Всех, ёштвоюлять, облавливал. По десять штук зараз! Было время, времечко.

Николай Семенович попыхтел опять папироской. Глаза его блестели, в них прыгали огоньки азарта. Видно, что инструктаж меня, молодого бойца, ему, как бывшему сержанту Советской Армии, самому стал нравиться.

– Плашки – это дело важное, а сила – еще важнее! Вот, к примеру, ты, ёштвоюлять, знаешь, как правильно сделать сило? А, знаешь?

– Конечно знаю, кто этого не знает? Велика важность!

– Да не знаешь ты, Паша, не знаешь! Никто этого не знат, потому как знаю это только я один – Николай Семенович Майзеров, лопшеньгский мужик. А вот я сейчас тебе покажу.

И он убежал к себе, в торец конюшни, в конторку, где конюхи обычно бражничали. Это помещение знали все деревенские мужики. Они похаживали в гости к конюхам. О конторке этой знали и жены тех мужиков и самих конюхов и все обещали конторку ту спалить. Да как ее спалишь – она ведь в конюшне. Не будут же бабы палить конюшню.

Из конторки Николай Семенович принес пучок белесого конского волоса.

– Это от Поратка волос. Самолучший припас для себя. Да куда теперь, ёштвоюлять, мне за пунашками ходить! Хотя хочу, Паша, ох, темнеченько как хочу.

Он опять уселся на бревенчатый настил, отделил от пучка две волосины, остальные отдал мне.

– Забирай, пока не передумал. Лучше нету, сам убедишься. Смотри, как надо делать.

Дядя Коля взял один волос, согнул его пополам, поднял петелькой кверху и пальцами обеих рук начал екать сверху вниз. Очень быстро получилась длинная косичка с круглым ушком на конце.

Дядя Коля подтянул нижний конец косички и просунул его в ушко. Получилась самая настоящая петля.

– Вот теперь эту петлю надо приладить к плашке. Научить?

– Научить, дядя Коля, научить.

– Ни хрена, ёштвоюлять, не умеете, молодежь.

Он поднял с земли щепку, достал из ножен рыбацкий свой ножик, обстругал. Получилась маленькая острая лопатка. Потом продавил кончиком ножа поверхность бревна, образовалась маленькая щель, взял только что приготовленную петлю и спросил меня:

– Ну-ка, скажи мне, охотник, каких размеров петелька должна быть?

Вопрос был сложный. Ясно, что пунашок должен попадать в петлю головкой, но я не знал его настоящих размеров, видел птичек только в полете.

– Вот, дорогой мой сосед, на этом прокалываются все пунашочники. Они делают маленькие петли, потому пунашки в них не попадают. Они разгуливают, ёштвоюлять, по плашкам, как по Невскому проспекту, и не попадают.

Я не бывал на Невском проспекте и не знал, как по нему так разгульно можно гулять пунашкам. Николай Семенович бывал на нем проездом из Германии, где служил срочную.

– А какие должны быть петли? – Я не мог не задать этот важный вопрос.

– Иди сюда, пунашочник, следи.

Он просунул в петлю три толстенных конюховых своих пальца.

– Вот, секрет тебе показываю. Проверено, ёштвоюлять. Только никому не сказывай, это я тебе по-соседски тайну раскрываю. В самый раз. Ну-ко, давай свою пятерню.

Он просунул мою ладонь в только что отмеренную уловистую петлю. Она влезла вся.

– Вот так вот и примеривай, сосед. Наловишь больше всех, Паша. А теперь гляди, как крепить надо.

И дядя Коля заостренной щепкой вогнал конец силка в бревно, в сделанную им расщелинку, легко постучал полешком по торцу щепки, ловко качательными движениями отломил щепку от того, что осталось в бревне, и звонко прикрикнул:

– Гаттов-в-вая!

Из бревна ровнехонько и красиво торчал белесый силок, сделанный из волоса, до недавнего времени украшавшего хвост колхозного коня Поратка.

Николай Семенович сделал из двух пальцев фигурку, напоминающую чьи-то ножки, и эти «ножки» стремительно, ничего не подозревая, побежали по бревнышку прямо в раззявленную смертельную пасть петли. Перед этой жуткой пастью они остановились, вместо двух «ножек» образовался вдруг один торчащий указательный палец дяди Коли, и вот он-то, бесшабашный, рванулся в коварную ловушку.

– Этть, ёштвоюлять! – крикнул опять с детским восторгом дядя Коля, и его палец затрепыхался, завертелся в коварной петле в бесполезных попытках из нее выдернуться.

– Доставай пунашка, Пашка! Гат-товвая! – взвизгнул опять Николай Семенович и порвал силок согнутым пальцем. Потом он достал последнюю папиросу, закурил, несколько раз переменил сидячую свою позу и сказал мне очень важную вещь: – Знашь ли ты, Паша, отчего у которых-то деревенских обормотов пунашки имеются и рыба клюет, а у которых-то и нет совсем?

Я хлопал глазами, я не знал. По сути дела, это была тайна из тайн. Ключ к охотничьему и рыбацкому успеху. Добычливых людей в народе уважают, над неудачливыми посмеиваются. А мужики с удачей есть! Есть такие мужики.

Вон, возьми хоть, например, Николая Васильевича Пунанцева, по кличке Копачка. Он даже если на свой огород рюжу поставит, ему навага весь кут зальет. А на нерпу ему и в море ходить не надо – напротив дома, с берега, сколько хошь настреляет. Вот добытчик, так добытчик! Добрая за ним слава водится.

Я хотел быть таким же удачливым и иметь такую же славу. Поэтому я хотел наловить много пунашек.

Николай Семенович замолчал. Он пыхтел скукоженной папироской и, сильно сощурившись, глядел в сторону теплого солнышка, катившегося к окончанию дня. Наверно, там, в далекой-далекой сторонushке, выглядел он и разглядывал теперь в эту минутку ту самую тайну мужицкого успеха. А та, словно вертлявая бабенка, поворачивалась то одним, то другим заманчивым своим боком. Красовалась перед симпатичным дядей Колей.

Я, сидя перед ним на бревнышке, весь извертелся. Очень уж хотелось мне узнать то, чего не знаю я, а дядя Коля знает. Но задавать вопросы и канючить «скажи да скажи!» было нельзя. В деревне не любят тех, кто много болтает, уважают тех, кто много делает. Я старался расти степенным, сдержанным, как, допустим, мой отец. Если уже что сказал, так сказал, как железный столб на километр в землю загнал, – трактором не выдернешь.

Дядя Коля, видя, что папиросина догорает, сделал последние быстрые глубокие затяжки, положил ее на большой палец и ногтем указательного пальца стрельнул папиросу резко и умело. Та улетела метров на пять в голубую даль.

Он поднялся на ноги и встал передо мной во весь немаленький свой рост. От этого стал для меня еще внушительнее и загадочнее. От него пахло лошадьми и сеном – конюшной – и нашей деревней. Вдруг он полунаклонился ко мне и, приложив ладонь стенкой ко рту, проговорил вполголоса, как бы украдкой, так, чтобы никто больше не слышал:

– Воротча пройти надо, Паша, воротча. А без этого пунашков ты не поймашь. От стариков это идет, никому этого не переломить...

И заглядывался по сторонам, мол, не сболтнул ли чего, заторопился, заторопился. Напоследок потряс мою руку, поправил «горбушку» и быстро шагнул к конюшне. Уже от дверей вернулся, наклонился опять ко мне, и страшно воняя табачиной, шепотом пропыхтел мне на ухо:

– Только ты, ето, сосед, никому, ёштвоюлять, про это не сказывай. А то, ежели, ёштвоюлять, все будут знать про ето, – всех пунашек переловят, тебе и не оставят. Понимашь аль нет?

Я не знал, что и сказать, глядел на него ошалело, только кивнул в знак понимания. Хотя не соображал ничего.

Дядя Коля опять быстро шагнул пару раз к конюшне и опять вернулся.

У него было не дыхание, а выхлопная труба плохо переработанной табачины, труба крематория, в которой не до конца небрежно сжигают табачные отбросы. И опять на лице выражение человека, выдающего государственные секреты.

– Ты вот что, сосед, понимать должен: не у всех наших старух воротча подходящи. Таки заразины водятся, ёштвоюлять. Ты у ней воротча пройдёшь, а тебе, ёштвоюлять, ещё хуже пунашки запопадают. Выбери, каку надо, Паша, спроси у бабки, он знат.

Он позыркал по сторонам своими зелеными, будто в великой опаске сощуренными глазами и прошептал мне стратегическую информацию:

– Вопше, ты знашь, Паша, у родни твоей, у Сусаньи Петровны, воротча самолучши. Я сам какой-то год проходил у нее. Пунашки попадали, спасу нету Верна бабаня.

И ушел за дверь. На этот раз насовсем.

А я еще долгонько сидел на бревнышке и никак не мог сообразить: что это за штуковина такая – эти воротча? Почему их надо проходить у деревенских старух? Потом побежал домой делать плашки.

За ужином я извертелся весь. Хотелось у отца спросить про эти самые воротча, но сомневался, с какого боку подойти, чувствовал: есть какой-то подвох в этом вопросе.

– Ты пошто худо ешь, Пашко? – поинтересовался батя, загребая ложкой свежую уху.

Ну, случай подвернулся, надо спрашивать:

– Папа, а у кого мне воротча пройти? У какой бабки?

Отец только-только откусил от хлебного ломтя, ему надо было жевать, но жевать он не начал. Какое-то время сидел с набитым ртом и с вытаращенными глазами. Мама уже было поднесла ложку ко рту, но вдруг положила ее обратно в тарелку, задрала голову да как начала хохотать.

Отец стал оторопело на меня глядеть и быстро жевать. Потом сосредоточенно уставился в одну точку на столе. Подносил ложку ко рту, скулы его ходили ходуном.

Он ошалело глядел в эту самую точку и, видно, думал какую-то думу, и молчал. Был очень серьезен. Все же и он не выдержал момента и, глядя на смеющуюся маму, вдруг прыснул, потом себя пересилил, посерьезнел и спросил меня вполне строго:

– Тебя, Пашко, кто ето научил воротча проходить?

Да знаю я эту напускную отцовскую суровость. Брови хмурит, а в глазах доброта...

– Сосед наш, Николай Семенович. Ты же сам меня к нему послал. Он сказал, что самолучшие воротча у родни нашей – у Сусаньи Петровны. Иначе пунашки ловиться не будут и рыба клевать.

Тут отец не выдержал, плечи его затряслись, и он побежал за дверь, на поветь. Я понял – чтобы просмеяться.

А мама хохотала во весь голос. Она положила руки на стол и уперлась в них лбом. Смеялась мама звонко.

И в самом деле, я не понимал: чего это мои родители так развеселились? Про воротча эти я давно уже слышал, знал, что проходить их надо, хотя и не понимал, что это такое.

Но для меня было совершенно очевидно: штука это важная, даже необходимая в промысловом деле. Тогда почему родители к ней так несерьезно относятся?

Отец, как ни в чем не бывало, пришел с повети и уселся на свое место – в торце стола. Начал есть рыбу, пойманную еще зимой щуку. Мы ее много тогда привезли на санях с озера Никиткина. И мама сказала:

– К Сусанье Петровне нельзя идти, я с ней поругалась.

– Когда эт ты успела? – округлил глаза папа. – Ты все время с ней ладишь.

– Лажу, да не всегда, оказывается, – ответила резковато мама, подбоченилась, поглядела в окно и фыркнула.

Она всегда так фыркала, когда говорила о женщинах, с которыми была не в ладах.

– Ну и в чем же вы не сошлись, кумушки? – хмуро поинтересовался отец, снимая «мундир» с вареной картошины. Он страсть как любил вареную картошку с соленой рыбой. Я тоже.

– Она тебя шаляком назвала. Старушка сама, а все ей обзывать надо.

– Может, я шаляк и есть. Форменный. Может, так оно и есть. Родня – она родня и есть. Может и сказать. – Все же у отца в краю глаза мелькнула искорка обиды, и он тему продолжил. – Чего эт Сусанья Петровна меня костить стала? Вроде я ей ничего худого и не делал.

– Ты, Гриша, за что-то ругнул Павлу Гавриловну, вот бабушка и осердилась.

Павла Гавриловна была дочкой Сусаньи Петровны. Жила она с большим семейством в другой половине нашего дома, приходилась нам соседкой и близкой родней. Но, по правде говоря, всяко было в наших отношениях в разные времена...

– А чего она, деинка, овец своих на нашей половине держит? Огород разгородила. Нам самим травка нужна. У нас вон пять штук своих. Ягушка ходит суягня. Траву нашу изводит, деинка. Родня родней, а каша наша, а не ваша.

Отец посмотрел на меня с видом человека, докопавшегося после долгих поисков до истины, и с треском хлопнул ладонями по коленям:

– Вот оно что! А я думаю: чего это Павла Гавриловна на меня глазами рыскат да не разговариват. Я и матюгнул-то ее маленько всего. Так, для легкой острастки. А она, гляди-ко ты, осердилась, губу выпятила.

– Не надо бы ругаться с соседями, Гриша. Вон оно как получается: ругань одна вышла, да обида. Пусть она, эта трава... Отношения дороже. А для овечек ребята из припольков травы наносят.

Отец крепко уважал своего дядю, женой которого и была Павла Гавриловна. Конечно, ему не хотелось никаких конфликтов, но что теперь поделаешь – матюги уже вылетели из его возмущенного рта. Надо теперь все улаживать. Зря он погорячился, зря. Он попил чаю и засобирился куда-то по делам. А мне наказал:

– Ты, Паша, насчет Сусаньи Петровны правильно все решил. Пойди к ней воротча проходить. Она в самом деле бабушка справная. Да и любит она тебя, я знаю... Не должна отказать. Только один не ходи – неудобно, собери ребят. Не ты один в деревне пунашочник...

На другой день в школе я собрал ватагу таких же, как я, оголтелых охотников-промысловиков из второго, третьего, четвертого классов.

Все они жаждали пройти воротча, все понимали сугубую важность этого неотъемлемого для удачной охоты дела, все осознавали совершенно твердо: воротча не прошел – дичь пролетит мимо тебя, зверь пройдет мимо, точно так же минует тебя и рыба.

После школы я повел этот отряд искателей удачи к дому Сусаньи Петровны. Она жила в центре деревни, почти напротив здания бывшей церкви, где теперь располагался сельский клуб.

Дом ее стоял на пригорке, в стороне от деревенской улицы, и мы, как и полагается охотникам, не стали туда ломиться, а остановились, спрятались за большим костром дров, что стоял на обочине улицы, и подглядывали из-за него: где же обитает Сусанья Петровна? Дома ли она? Чем занимается?

А Сусанья Петровна была около дома.

Она ходила в больших мужских резиновых сапогах, в старенькой залатанной во множестве мест фуфайке по закрайку своего огорода и собирала оттаявшие из-под снега сырые чурочки и полешки – всё дрова, и складывала их на просушку поверх кучи старых досок.

Обстановка была вполне благоприятной. Увидев такое дело, я сказал единомышленникам:

– Можно выходить.

Сам я часто дышал, мне было страшно появляться из-за пленницы на белый свет и на глаза Сусанье Петровне. Я откровенно трусил. Так, наверно, побаивается молодой солдат вылезать из окопа и идти в первый раз в атаку на пулеметы. Но вылезать надо было, потому что ребята знали: я – родня, а родне в деревне не принято отказывать. Поэтому на пулеметы я пошел первый, отряд промысловиков нерешительно плелся сзади.

Сусанья Петровна стояла около кучи старых досок и держала перед собой двумя руками сырую чурочку, как будто играла на гармонии. Увидав нас, целую ватагу человек из десяти, она сильно изумилась. Старческое морщинистое лицо ее, немного припухлое от ветра и весеннего солнышка, сейчас словно порозовело, посвежело. Обычно маленько уже скособоленная от тяжести прожитых лет, она вдруг разогнулась, вытянулась и спросила нас весело и дружелюбно:

– А куда это вы, мужики, таки красивы, путь-дорогу направляете? В какую сторону?

Все молчали, шмыгали носами. А я вроде за старшего: я ведь всех сгношил воротча пройти. Мне и держать ответ. Надо было с какого-то боку начинать разговор. Сложный разговор, непонятный, но чрезвычайно важный.

– Мы это, бабушка Сусанья, по делу к тебе пришли.

– Да что ты, Паша, да что вы, родненькие вы мои! – Сусанья Петровна и всплеснула бы привычно руками (ох, умеет она руками махать!), да чурка у нее в обеих руках. Она поводила туда-сюда чуркой, запричитала: – Да чем же я, старушка така, смогу вам помочь-то, голубочки-то вы мои! Не могу я уж боле ничего. В больших уж годочках-то стала я...

И тут я назвал цель нашего прихода:

– Нам бы воротча у тебя пройти, баба Сусанья.

Сусанья Петровна как стояла, так и села на старые досочки. Посидела она на этих досочках, поглядела на нас с приветливой улыбочкой и спросила вполне радушно:

– А послал-то вас кто ко мне, окаянные?

Тут уже все вступились, загалдели, видя, что дело может и выгореть.

– Вся деревня нас послала, бабушка, вся деревня. Все говорят, что у тебя воротча самые лучши.

Сусанья Петровна еще маленько посидела на старых досочках, поохала, видно, что притворно, незлобно поругала и нас, и всю деревню: вот удумали, окаянные, изгаляются над старухой, такие-сякие... Потом она с кряхтеньем, но довольно бойко поднялась, оглядела нас с насмешливым видом, приказала:

– Ну, пришли, дак и пойдем. Заходите в избу, хулиганье. Только ноги выколачивайте. Грязно, подит-ко, на улке-то теперича.

В избе Сусанья Петровна усадила нас на длинную лавку, что стояла вдоль всей левой стены. Кому лавки не досталось – заняли табуретки, а кто-то уселся прямо на пол.

– За пунашками собрались? – поинтересовалась старушка, а сама зачем-то взяла веник, стоявший у печки в углу, и положила его в правую руку.

Примерила, крепко ли сидит он у нее в руке. Было видно, что веник держался в руке крепко.

«Зачем ей веник-то, – подумалось нам всем, – да еще такой, без листьев совсем, одни ветки голые... Если таким веником по одному месту...»

– Ну что же, детки, будут вам пунашки. Хорошо наловите. У меня воротча легки.

Она подошла к двери, настезь открыла ее, а сама встала у порога спиной к двери, лицом к нам. В правой руке – веник, левой она подобрала подол сарафана, сколько можно было, задрала подол кверху и расставила широко ноги. Между оголенных старушечьих ног образовалось что-то вроде маленьких ворот.



«Вот они какие-то воротча! – подумалось мне. – Но теперь надо же как-то через эти воротча проходить. А как?»

– Кто первой-то будет? Давайте по очереди.

Куда мне было деваться? Я и пошел первый. Так, наверно, прыгает из самолета в ночь, в неизвестность, первый десантник. Ему труднее всего. За ним – все остальные. Им легче. Я скакнул к бабушке Сусанье, упал перед ней на карачки и так, на четвереньках, проскочил ее воротча. При этом крепко получил по заднице бабушкиным веником. Пулей вылетел из дверей на улицу Пролетел над ступеньками. Выскочил на улицу как ошпаренный. Слово из бани в снег. И страшно, и весело.

За мной на улицу стали выскакивать другие промысловики. У всех в глазах веселый азарт.

Многие почесывают свои задницы. Сусанья Петровна каждого одарила своим веничком.

Все разбежались вскоре по своим ребячьим делам, а я все стоял у крылечка Сусаньи Петровны, как будто ждал чего-то, чего – и сам не знал. Что-то держало меня.

Может быть, меня тревожила образовавшаяся трещина в отношениях между моим отцом и Сусаньей Петровной. А ведь мы родственники. Кроме того, я любил и его, и её. Я ведь знал, что она крестила меня вместе с моей бабушкой, Агафьей Павловной.

И вот она, дородная, раскрасневшаяся после проведенной процедуры, статная, выехала из дверей на свое крылечко.

– О, – сказала она с отчетливым удовольствием, – Пашко, ты чего, окаянной, здесь ишшо?

– Тебя жду, бабушка Сусанья.

– Чего же в дом тогда не заходишь, дитятко?

– Да чего-то боязно.

– Лешой-то с тобой! Разве можно родни своей страшиться? Совсем ты, Пашко, стыд потерял. Срамоток-то какой! Ох, темнеченько... – Сусанья Петровна сокрушенно закачала головой, запричитала: – Вот родня, дак уже родня, срам – да и все!

– А чего это ты, бабушка Сусанья, к нам в гости не заходишь? – задал я главный свой вопрос. Этот вопрос меня тревожил, потому что я в самом деле любил Сусанью Петровну. – И бабушка Агафья тебя давно ждёт.

Тут она подбоченилась, положила кулаки на широкие свои бедра и резковато высказала то, что тяжестью лежало на ее доброй душе:

– А как я к вам ходить буду, если твой батько шаляк? Ты че, не знаешь, че он Павле, дочке моей, наговорил?

Я, конечно, знал, что там было. Там в самом деле было мало литературных слов. Но я очень хотел, чтобы они помирились, и я пошел на военную хитрость.

Я нашел нужные слова.

– Не знаю, чего уж он ей мог сказать такого... Он ведь деинку Павлу очень уважат. А че меж соседями не бывает? Так ведь, бабушка Сусанья?

А потом я выстрелил из пушки в дальнюю-дальнюю десятку и попал:

– Кажинный вечер, когда ужинать садимся, папа спрашивает нас: чего это Сусанья Петровна, наша самолучшая родня, к нам в гости не захаживат? Вот бы с ней опять в «пе-тушка-та» сыграть.

Половина деревни знала бесконечную бабушкину страсть: очень уж она любила картежного «петушка» и была в этой игре всегдашним чемпионом. Мой аргумент Сусанью Петровну ошеломил. Она вздернула кверху так и не выпавшие с годами длинные ресницы бывшей первой деревенской красавицы и дрогнувшим помягчелым голосом спросила:

– Че, в самом деле меня вспоминал, дурак этакой?

– Вспоминал, бабушка, вспоминал. Да все добрым словом. Куда, говорит, родня самолучша пропала? А бабушка Агафья ему подпеват. Да и мама тоже.

Сусанья Петровна приоткрыла рот, грузно села на ступеньку и уставилась в одну точку.

– Вот окаянный, и надо ему было дочку мою ругать, – сказала она задумчиво, но уже как-то вполне умиротворенно.

– А может, и не ругал он ее совсем? Может, и она не в духе была? Мало ли чего ей показалось.

Бабушка Сусанья поглядела на меня вполне весело:

– Вот ишшо, заступник нашелся. Ждут там меня, поди ты как, нате-ко. Ладно, хорошо, што сказал. – И стала меня прогонять: – Ты, Пашко, или в дом заходи, чаи будем гонять, или побегай с Богом – пунашек ловить. У меня воротча ладны, много поймашь.

И я помчался по своим делам. На душе лежала радость от удачно проведенного разговора.

За ужином я опять весь извертелся. Сколько ведь было событий за сегодняшний день, а отца с матерью как будто ничего не интересовало.

Отец старательно хлебал уху из соленой вымоченной щуки, доставал ложкой рыбу и внимательно разглядывал приличные куски, с разных сторон их обкусывал, обсасывал кости. Они с мамой вели бесконечный разговор о хозяйстве, о том о сём, о корове, которая вот-вот отелится, о том, что, скорее всего, будет не бычок, а телушка, и ее надо будет выгуливать до следующей зимы.

Я похмыкивал и разглядывал родителей с крепкой досадой: ну о чем они толкуют? О каких-то пустяках. Тут вон какие события состоялись...

– Ты, Пашко, чего как на шиле сидишь? – наконец-то заинтересовался отец.

– Дак у него же сегодны воротча были, – хмыкнула мама и заулыбалась.

– А у кого же ты их проходил? – спросил отец, как будто первый раз об этом услышал.

– Дак у Сусаньи же Петровны. Ты же сам меня к ней направил.

Я не понял сразу, чего это отец стал таким забывчивым.

– К этой карге старой? Не мог я тебя к ней послать. Греховодница она, кокорина. Меня обзывают, страхи божьи как.

Ну и характер у моего батяни! Он ругался показушно, это было видно невооруженным глазом. Видно, что любит родню свою, Сусанью Петровну, жалеет о размолвке с ней, а норов свой выказать все равно надо. И самое главное – не знает, как снова наладить с ней отношения. Сам ведь не пойдёшь в ножки падать: прости, мол, меня, шаляка, дорогая тетя! А где гордость мужицкая? Да-а, нехорошо получилось, неладно. Отец взглядывал на меня, и в глазах его явно читалась надежда: не принес ли я какую-нибудь добрую весточку?

– Не выгнала она тебя, греховодница, родню свою? А может, и в дом не пустила?

Подробно я рассказал о том, как бригада местной шантрапы проходила воротча. Мама опять хохотала, а отец держал суровое лицо, но как-то вздрагивал и подавался вперед. Ему тоже, видно, хотелось посмеяться, но он всеми силами давил этот смех, ведь речь шла о Сусанье Петровне, а он был сейчас с ней не в ладах.

Но когда я стал рассказывать о разговоре с ней, состоявшемся на ее огороде, отец начал вращать глазами, поменял выражение лица на недоуменное и, отхлебывая из граненого стакана чай, стал тарашиться на меня и спрашивать:

– Чего, так и сказала, что больше на меня не сердита? Че, так и сказала?

Сусанья Петровна так не говорила, но мне очень хотелось внести в семью лад. Почему-то мне казалось, что от этого всем будет хорошо.

И я весь изошелся в своем вранье.

– Нагольну правду сказываю. Так мне и сказала. Грит, батько твой – шаляк, но мужик он все-таки справной.

Папа вытаращил глаза на маму. Лицо его выражало растерянность от такого вот нахальства и глубоко спрятанную радость одновременно.

Какое-то время он сидел молча с полуобвисшей нижней губой, наконец пробормотал:

– Ну, не знай, что тут и делать, не знай...

– А что делать? Мириться тебе надо с ней, Гриша, – решительно высказалась мама.

– А как? – спросил после раздумья отец.

Не допив чай, он вдруг вскочил, подошел к печке, схватил быстрым движением пачку «Звездочки», что лежала на просушке на теплом надпечнике, и убежал на крыльцо. Теперь сидел там, часто кашлял и проворачивал, наверно, в голове так и этак, взад-вперед, всякие думы о внезапно изменившейся ситуации.

Потом, пропахнувший табачиной, он вернулся, плюхнулся на свой стул, стал допивать чай. Мы с мамой внимательно его разглядывали, ведь папа, наверно, что-то решил и сейчас нам объявит свое решение. И отец наконец сказал:

– Ты, Паша, если такое дело, сходил бы к бабушке Сусанье. Пусть она придет к нам в гости.

Пока он это говорил, глядел в одну точку – на маму. Говорил мне, а глядел на маму.

Он всегда так делал, когда не был вполне уверен в своей правоте. Мама была главным оценщиком его слов и решений. На этот раз решение принять было трудно, но он так рассудил, и мама ему не возразила.

Эх, как же возрадовалась тогда авантюрная моя душа! Не зря, значит, замутил я весь этот концерт.

Родители шли уверенной поступью в заданном мной направлении.

– Сейчас-то поздновато уже, пап. Может, завтра схожу?

– Кака тут спешка может быть? Кака? Пошто суету разводить? Сразу торопиться не надо. Тоже надо фасон выдержать. А то скажет Сусанья: не успела пригласить, а они уже под окошками шастают. Прискакали... Не-е, до завтра надо выждать.

Глаза у отца светились тайным светом радости: спадала с плеч тягость глупой, никчемной ссоры. В тот вечер он еще несколько раз выходил на крылечко.

Там курил и курил, и кашлял, но уже как-то весело. Так переживал он пришедшую на сердце радость.

А я на другой день после школы пришел к Сусанье Петровне. Изба ее была не на запоре, но хозяйки в ней не оказалось. Я заглянул во входную дверь, постучал прислоненным к углу батожком, покричал. Нет, ни слуху ни духу. Обошел вокруг весь дом – пусто. Куда-то убрела старушка. Пришлось применять какие-никакие охотничьи навыки. Стал изучать следы.

Около крыльца натоптано было много чего – к бабушке народец похаживает, да и я в том числе. Но метрах в трех от крылечка вроде бы обнаружился и ее след. Вот они, ее резиновые чуни, направились куда-то по огороду. Да вон куда убрали старые ножки – в дальний угол, туда, где находился погребок с картошкой да с другими прошлогодними припасами. Погребок был укрыт в чреве старенького амбарчика, приплюснутого временем и тяжелыми зимними снегами. Выстроенный лет двести назад «в лапу», с торчащими теперь в углах по сторонам неровными гнилыми бревнами, покрытый рваным от старости древним тесом, амбарчик походил на взъерошенную ворону, на которую сверху что-то упало и маленько придавило.

Сусанья Петровна в самом деле была в погребе. Она шебаршила на дне его всякими деревяшками да ведрами, чего-то там перекладывала. Кряхтела при этом и тихонько напевала какую-то старую-престарую песню.

– Здравствуй, бабушка Сусанья! – крикнул я сверху вниз.

– Ох, темнеченько, хто это там? – заойкала бабушка и полезла по лесенке вверх.

Я сидел на корточках перед дырой погреба.

Лицо Сусаньи Петровны, окантованное серым теплым платком, не по-старушечьи зарумяненное весенней работой, оказалось передо мной.

– О, Пашко! Здравствуй-ко! Ты откуда тут, окаянной?!

Видно, что она была рада мне. Она не ждала от меня нехороших вестей.

Да и мне было радостно видеть ее. Бабушка Сусанья всегда меня привечала.

– Папа и мама приглашают тебя к нам в гости. Чаю пить.

Сусанья Петровна поднялась до конца по ступенькам, кряхтя, на карачках вылезла из амбарчика на улицу, встала во весь рост, отряхнула с одежды погребной мусор и села на порожки. Меня она усадила напротив, на чурочку, и, щурясь от весеннего солнышка, сказала:

– Чево́й это, Паша, твои батько с маткой меня приглашать удумали? Я им разве нравлюсь? Я же собачусь с имя.

– Не-е, бабушка, они тебя любят.

Сусанья Петровна повернула лицо к морю и задумалась. Старые глаза ее глядели на плавающие по синей воде белые льдинки.

Она о чем-то думала, развязывала узелки памяти. Потом, будто выбросив из дома старые, уже залежалые вещи, сбросила с лица следы отжившей печали и сказала мне с широкой улыбкой:

– Вот родня, так родня! Одно название! Чаю попить зовут! А я, может, и не согласна совсем. Кто так мирово устраиват?

– А как надо, бабушка? – я в самом деле не понимал, что это удумала Сусанья Петровна. А ведь что-то удумала!

А она поднялась с порожка, встала во весь свой высокий рост, кулаки в бока, и, хитро и едко улыбаясь, сказала мне твердо:

– Ты, Пашко, скажи им, этим, родне моей, твоим батьке с маткой, пускай они дураков-то не строят из себя. Я чаю попить и у себя могу. А ежели они хотят мирно со мной жить, с бабушкой, родней своей, пусть госьбу устраивают. – Она потянулась вся, тряхнула бойко плечами, словно молодуха, и, считай, пропела: – Давненько я, Паша, на госьбах не плясывала.

Отец, выслушав мой отчет, вытаращил глаза:

– Кака ишше така госьба? Праздника-то вроде нет никакого. С какого такого матюга петь да плясать-то будем?

Было видно, что отец радовался такому повороту дела.

Он ведь крепко уважал Сусанью Петровну и страх как хотел с ней замирился, но соби́рание гостей, веселье с песнями да с плясками ни с какого боку в ситуацию не укладывалось. И он стал звать на совет маму. Та, услышав такую новость, поначалу застыла в недоумении. Потом села на крылечко и стала хохотать.

– Ну, бабушка Сусанья, вот так бабушка! Ведь все в свою сторону поворотит, – выговаривала мама сквозь смех.

Потом она сказала нам:

– Садись, Гриша, рядом, и ты, Паша, садись. Будем думать, чего тут делать.

Мы посидели, подождали маминого решения.

– Вот, мужички, чего я вам скажу. Денег, конечно, нету, а делать нечего, надо в какой-то вечер людей позвать, посидеть, песен попеть. Давно песен не пели... (Эх, мама любила песни петь!) А бабушка Сусанья – человек всяко не чужой, близка родня. Помрет, не приведи Господи, и помири́ться не успеем. Не-ет, чего уж тут, надо посидеть, надо госьбу делать.

Папа к госьбе был готов всегда. Видно, что он обрадовался такому повороту дела.

– А в кадке и браги ишшо изрядно осталось, – бодро подхватил он начатую тему и осекся.

Зря, конечно, он про брагу и про кадку вернул, не ко времени. Мама поморщилась и отвернулась. Для нее это был больной вопрос: брага в кадучке на печке все время почему-то неведомым образом убывала...

– Ладно, – сказала мама, – думай-не думай, все тут одно – надо обряжать госьбу. Давай, Гриша, решать, кого звать будем.

Госьба получилась знатная.

Изрядно попив винца да бражки, гости сидели на лавках, на стульях и задушевно распевали песни. И «Виноградь» исполнили, и «Хасбулат удалой», и «Называют меня некрасивою», и много чего другого.

В промежутках между песнями велись шумные разговоры, пились очередные чарочки.

И уж всегда после песни, перед очередным разлитием бражки, какая-нибудь разрумянившаяся женочка обязательно задорно-задиристо выпевала: «Песню спели до конца, кабы по рюмочке винца. А кто не пел, дак никакой, а нам налейте по другой!»

Мама сидела рядышком с Сусаньей Петровной, вместе с ней пела, о чем-то с ней ворковала.

Вдруг громко-громко, чтобы слышно было всем, мама обратилась к ней и попросила:

– Бабушка Сусанья, ну-ко, спой-ко свою любимую.

Сусанья Петровна, будто не понимая, о чем идет речь, для порядка стушевавшись, поинтересовалась:

– Каку ишшо таку?

– Да про уставшего-то солдатика, который на войне да домой хочет.

– Ой, да я и слова-то забыла все, – всплеснула руками бабушка, – да и голосу-то нету никакого уже, старуха ведь я...

Все понимали: эта скромность для порядка, так на госьбах положено маленько кобелиться.

– Спой, давай уж, спой! – запричитала госьба.

Сусанья Петровна покорно потупилась, глубоко вздохнула, набрала в грудь воздуха и, глядя на какую-то точку над столом, над гостями, затянула густо-грудным, совсем не старческим голосом:

Ой, туманы вы, да разноцветные,  
Пораскинулись вы предо мной!..  
Что же вы застите мою заветную  
Да путь-дороженьку да в дом родной?..

И так у нее душевно-трогательно, так нарядно получилось спеть и про то, что у солдатика кругом война и враги, что он тоскует по родителям и по любимой красной девушке, и про то, как сильно устал он воевать...

Гости долго ей хлопали, а бабушка сидела вся и впрямь растроганная, раскрасневшаяся, и на лбу ее светились мелкие-мелкие бусинки пота. Давно, видно, она не выступала так на людях, давно...

Госьба, задуманная ею, получилась знатная.

Надо было завершать мирово с моим отцом, который явно для нее расстарался. Сусанья Петровна хорошо это понимала.

Она встала, вышла из-за стола и подошла к нему, сидевшему в обнимку с гармонистом Автономом Кирилловичем, старым своим другом, тоже бывшим «военмором», и задушевно певшему с ним про то, как «дрались по-геройски, по-русски два друга в пехоте морской...».

Бесцеремонно оторвала она его от гармониста и, приказав играть «Колхозную кадрили», потащила отца в танец.

Приседать она по своей старости уже не могла, а только стояла, подбоченясь, и кружилась тихонько, держа над головой белый платочек.

Громко и озорно пела она не совсем в такт музыке частушку:

Встала баба на носок,  
А потом на пятку,  
Пошла русского плясать,  
А потом вприсядку...

А отец, мой отец, кружился вокруг нее в матросском танце «Яблочко» и выделял такие фортели, которых я никогда ни раньше, ни потом не видывал. А Сусанья Петровна похлопывала его по голове и выговаривала:

– Шаляк, ты, Гришка, шаляк, конечно! Да ведь люблю я тебя! Родня ведь ты мне!

А папа от этих слов еще больше входил в азарт, радостно позыркивал на Сусанью Петровну, звонко и хулиганисто покрикивал что-то и кружил, и кружил вокруг нее в матросской присядке.

Вот такими и запомнил я их навсегда на этой госьбе: радостные глаза мамы, величественную позу Сусаньи Петровны, в ярком сарафане, с белым платком в руке, папу, кружащегося вокруг нее в веселом «Яблочке», бесконечно счастливого от восстановленного в семье мира, бабушку, Агафью Павловну, почти слепую, но тоже улыбающуюся, старую подругу Сусаньи Петровны, и гармониста, папиного друга Автонома Кирилловича, подвыпившего, склонившего лысую свою голову к гармошке, неимоверно растягивавшего старые ее меха и без устали наяривавшего песню за песней, танец за танцем.

Теперь я совсем не помню, сколько пунашков поймал в ту весну. Поймал ли сколько-нибудь вообще? Скорее всего, поймал, ведь у бабушки Сусаньи были воротча ладные. Дело совсем не в этом. Оно в том, что мне удалось узнать новое дело, помирить милых моему детскому сердцу людей, увереннее войти в мир совсем не простых деревенских отношений, крепче стать на ноги.

Давно уже нету среди живых почти всех, кого я упомянул в этом рассказе. Да и на деревенском кладбище, куда они переселились, могилы не всех сразу и найдешь. Кое у кого кресты упали, вросли в мох. Сквозь гнилое дерево проросла трава. Деревня потихоньку пустеет, пустеют дома, и за некоторыми могилками больше некому приглядывать.

Скоро умрем и мы, и неизвестна долюшка и наших крестов да могил. Но пока ношу по земле бранные свои кости, не забуду их, добрых своих односельчан, не погаснет в сердце моем память о них и любовь.



Многое угасает: и чувства, и память. И только одна заботушка неустанно берedit живое пока что тело: в тот последний час, в оставшуюся предзакатную минуточку успеть добежать, дойти, доползти до того теплого, укрытого соснами, местечка, где лежат в покойном сне мои предки, папа, мама, дедушки и бабушки, крестившие меня Агафья Павловна и Сусанья Петровна, мои земляки, которых хорошо знал, и мои одноклассники.

И лечь рядом с ними.

Я знаю: они примут меня дружески.

Ведь я люблю их всех.

## Беспалый



Ох и медведя развелось в этом году, ох и развелось! И откуда их столько взялось в один-то год? Сбежались с других мест, что ли? Как клопы, например. Их в одном доме дустом посыплешь, они в другой кидаются и кусаются, изголодавшиеся по свежей кровушке, с еще большим остервенением.

А может, просто год такой урожайный на медведя выдался? Бывают же годы урожайные на морковку, на клубнику. Почему же не может быть на медведя? Трех коров задрали, шутка сказать! Вроде и меры предпринимали всякие: перестали выгонять буренок на дальние летние пастбища, на старые пожни, стали держать их в прилесках да кулигах, навязали им на шеи колокольцы, чтобы отпугивали медвежью братию. Теперь не стадо – колокольный оркестр, сопровождаемый мычаньем. Пастушьего матюга уже не слышно – все перебивает разноголосье бубенцов.

И что бы вы думали?! Не помогло. Только оплошает какая-нибудь рогатая Ласточка или Певунья, сунется в клеверный травостой, впадающий углом в лес, и пожалуйста – из-за куста на нее вываливается громадный и могучий хозяин леса. Только бубенчик последний раз звякнет – и все, нет коровенки!

А уж в лесу самом, и говорить нечего, – сплошные страхи. Особенно под осень, когда пошла, повалила ягода, грибы да прочая благодать. Народ хлынул в чащу за таежными дарами с кузовами, с пестерями. И нате вам! То тут, то там – следы медведя, помет, а то и сама морда лохматая из-за дерева высунется. Тогда крику, визгу – не приведи господи! Баба в одну сторону, мишка в другую – кто кого больше испугался? Давно известно: когда воскликнет русская женщина, в панике ретируется любое цивилизованное существо. Чего уж говорить о неподготовленном и темном лесном обитателе! А уж рассказов потом, рассказов, да приврут еще!..

Бабка Калинична кудахтала в деревенском магазине:

– Ой, женочки, вот беда-та, ведь чуть меня ушкуй-от не заломал, анчехрист.

Была бабка худа до крайности, низкоросла и костиста, и народ поэтому сомневался:

– Нужна ты ему очень, Аграфена Калинична. Он бы кого помасластей избрал для удовольствия.

Но Калинична шуток не воспринимала (видимо, и впрямь перенесла серьезную стычку с лесным хищником), рассказывала:

– За малиной вчера пошла, женочки, в Бревенник. В куст-от залезла, копошусь в ем, а малин-та ядреняшша, хорошащша, страсть! Увлелась я, ягоды кладу да кладу в туесок. Потом магды слышу, о! Кто-то в кусту-то, с другой-от стороны, шамкает. А я вниманья-то не обращаю, думаю, Васька Беляев, хто ешшо, – он намерен собирался в Бревенник-от, кладу да кладу, ем да ем.

Тут Калинична заговорила вкрадчиво, глаза зазыркали по сторонам. Народ в очереди замер, приготовился к кровавой развязке.

– А Васька-то все ко мне да ко мне, ближе да ближе... Думаю, чичас физию высунет, дак и поздороваюсь с ним.

И бабка замолчала, поправила платочек. Народ взвыл, народ желал кульминации. Все понимали уже, что «физия» будет не Васьки Беляева. И Калинична все сделала как надо. Она переложила матерчатую авоську на локоток, выставила вперед, как страшные когти, сухонькие свои пальчики и продолжила с леденящей душу интонацией, причем жуть в этой интонации нарастала с каждым словом.

– Ну он и высунул мордию-то свою, змей! Высунул – и смотрит на меня, глазами хлопает. Рыло – во! – Калинична расставила руки во всю ширину. – Приблизилось сперва-та – леший-батюшка, а перекреститься не могу – руки отнялись. Нет, женочки, гляжу, у того-то, у лешака-та, физия человеческа должна быть, так кто видел, дак бают, а тут-то – эко шерсти-то, ведмедь, гляжу. Я ка-ак завижду, женочки, – и Калинична в этом месте действительно звонко взвизгнула, отчего все еще больше напугались, и кто-то нервно хохотнул. – А он, радемой-от, как взнялся на задни лапы-то, думала – вот смертушка-та мне и встрелась.

Бабка замолчала, мелко перекрестилась, встревоженный за нее народ стал интересоваться:

– Не таянул он тебя, Калинична?

Хотя народ, конечно, понимал, что если бы это произошло, то беседа эта вряд ли бы состоялась, и на бабке были бы надеты не сандалеты, как сейчас, а, скорее всего, тапочки белого цвета.

– Не-е, гляжу, а уж и нету его, паразитика, только в лесу стрешшало.

Феофан Павловский в этом году работал на сальнице. Что такое сальница? Это внушительных размеров сарай, в котором принималась и обрабатывалась добытая рыбаками на тонях нерпа, морской заяц-лахтак, а когда и белуха – беломорский дельфин.



Но белуху специально не ловили, она сама иногда заскакивала в погоне за селедкой в тайники ставных сельдяных неводов.

Сальница стояла на морском берегу сразу за деревней. В деревне ее ставить нельзя было: обработка морского зверя – дело вонючее, тяжелый приторный запах всегда стоял вокруг сальницы плотной стеной.

Феофан пошел на эту работу поневоле. Еще в начале лета крепко приболела жена Зинаида, куда тут деваться, пришлось отказаться от сельдяной и семужьей путины и быть возле нее.

Председатель в ситуацию вошел, сказал: «Бери сальницу», оказал таким вот образом доверие. В общем, все ничего, и Феофан не чуждался никакой работы – это подтвердит каждый, но здесь – больно уж замарашиста. Идешь по берегу домой и чувствуешь сам – воняет от тебя, как от раука – нерпичьей тушки. Но переболеет Зинаида, поднимется в конце концов – женщина крепкая, и тогда снова – вольный воздух дальних тонь, веселый и дикий морской берег, серебристая семужка... В общем, он верил во временность своего нового занятия и не унывал.

Медведи добрались и до его сальницы. Несколько раз, придя утром на работу, он замечал их следы со стороны, противоположной деревне. «Принюхиваются, заразы!» – отмечал про себя Феофан. Известное дело, морской зверь – обычное для мишек лакомство. Феофан, хоть и не был «путним», как говорили старики, то есть хорошим охотником, но в следах разбирался неплохо. Как мог, следил за медвежьей суею около сальницы. Вот медведь лежал ночью за кустом, лежка тут его, наблюдал, выслеживал: нет ли опасности? Вот подходил к заплестку, нашел вымытые из воды старые нерпичьи кости, погрыз их.

Дальше следы вели прямо к дверям, медведь здесь долго топтался, нюхал, наверно, воздух, тянувшийся из пазов. Ага, вот царапины, да как высоко-то, напротив его лица, значит, вставал на задние лапы, скреб дверь когтями. Особенно впечатляли размеры следов – огромные круглые, как тарелки, когти, словно толстые провололочные крючки, глубоко увязали в сыром песке.

«Ну и медведяра!» – думал Феофан, и ему было маленько жутковато, потому что приходил он на работу в самую рань и на берегу было безлюдно. Выйдет вот сейчас такой громила волосатый из-за куста, и привет вам – моргнуть не успеешь, как скальп снимет.

В общем, он не испытывал большой радости от того, что медведи заинтересовались сальницей: ничего хорошего ждать от этого не приходилось.

Так и вышло. Через пару дней утром замок был сорван, вернее сказать, вырван вместе с петлями и валялся под дверью, будто его зацепили и рванули трактором.

Песок был весь в медвежьих следах и утрамбован до плотности грунта. Видно, косолапому пришлось долгонько повозиться с замком.

Феофан вошел в распахнутую дверь с опаской: вдруг медведяра не убрался еще из сальницы, затаился, ждет его? Но медведя не было, зато не хватало двух свежих нерпичьих шкур из четырех, что вчера только вечером были сданы рыбаками. Остатки одной, правда, валялись на затоптанном жирном полу. Это были огрызки кожи с выеденным салом, которое толстым слоем облегалo каждую нерпичью шкуру. Другой шкуры не было вовсе. Уволок, бандюга лесной.

Прибывший на место происшествия бригадир Пищихин долго разглядывал вырванный замок, трогал разогнутые петли, прицокивал языком, присвистывал:

– Это ж какую силищу надо иметь злодею!..

Внимательно проинспектировал результаты медвежьего хулиганства. Сомневался насчет второй шкуры, вероломно украденной:

– Как же это он, не понимаю, утянул-то ее?

И подозрительно при этом поглядывал на Феофана. Того это возмущало.

– Не я же ее съел, честное слово!

– Ну, я так не считаю, – мямлил Пищихин. – Я чисто технически не могу понять: что, взял в охапку и понес, так, что ли? Или на плечо закинул, интересно, черт...

Феофан терпеть Пищихина не мог, потому не спорил с ним, не обсуждал медвежьих возможностей. Только сказал:

– Если интересно, возьми да подежурь здесь ночью, он тебе покажет, как это делается.

Бригадир такая перспектива не прельстила. Он сразу засобирился, отдал распоряжение:

– Шкуры списать, на дверь приделать стягу.

Феофан стягу приделал, благо имелась в запасе.

Она легла поперек двери стальной лентой и закрыла ее наглухо.

Так ему казалось.

Но на другое же утро стальная стяга валялась у дверей, вырванная с корнем, и похожа была на измятую ленточку от матросской бескозырки.

Опять не хватало одной шкуры...

Пищихин был на этот раз более категоричен:

– Не-е, так это дело не пойдет. Этот ушкуй нас из плана выбьет. Надо пристрелить заразу!

Феофан вспомнил свою одноствольную пукалку – старенький дробовичок двадцатого калибра – и усомнился.

– Вот сам и берись за такое дело, я лично – пас!

– Брось отнекиваться, Феофан Александрович, – отрезал бригадир, – дело общественное, вишь, что творит, змей, все границы перешел. А из меня, сам знаешь, какой стрелок, целюсь через приклад...

То, что Пищихин не охотник, – это понятно. Балаболка, одно слово. Но и сам он не Робин Гуд, чего уж там...

– У меня ружья нету, – возразил Феофан.

– В колхозе карабин имеется, «Лось», десятизарядный, и пуля у него девять миллиметров, блямба! Кого хошь завалит, хоть слона. Выпишем, Фаня, не дрейфь, – чтобы умаслить, Пищихин стал фамильярничать, старый лицемер.

– Дай кого-нибудь в подмогу, одному страшновато, – честно признался Феофан.

Пищихин обрадовался: «Уломал-таки!» – и наобещал гору:

– Выделим, Феофан Александрович, лучшего охотника выделим!

«Лучшим охотником» оказался Санька Турачкин, лысый тридцатилетний долговязый парень, крикливый и немного нервный. Суета и нервозность появились в Санькином характере после выхода в свет исторического постановления о борьбе с пьянством и алкоголизмом. В тот период он сильно пострадал и до сих пор тяжело переживал появление этого правительственного документа.

«Опять надул, балаболка», – с неприязнью подумал Феофан о Пищихине, потому что никаких охотничьих подвигов за Турачкиным не знал. Кроме, пожалуй, одного. Года два назад Санька выпросил в охотхозяйстве лицензию на лося и осенью прямо за деревней подстрелил... колхозного коня Пегаску.

Оправдывался потом: «В сумерках дело было, а тот стоит в кустах, и рога на ем будто...»

Дело было до выхода упомянутого постановления, и Саньке в тот период действительно такое могло померещиться.

Он ворвался к Феофану под вечер и с порога заторопил:

– Пойдем, Фаня, жажнем твоего грабителя!

На плече у него висел карабин «Лось», десятизарядный и новый.

Феофан сидел перед телевизором в тапках и смотрел мультфильм по программе «Спокойной ночи, малыши!».

На коленях у него стояла теплая кастрюля со свежей ухой из пинагора – самолучшей ухой! Феофан хлебал уху прямо из кастрюли, протяжисто фыркал. Идти на хищника ему не хотелось.

– Вот сейчас все брошу и пойду, – сказал он и стал фыркать еще слаще, запричмокивал.

Турачкин, увидав такое дело и осознав, что его триумф может не состояться, взмолился:

– Пойдем, Фаня, а? Руководство поручило, надо сделать! А мне одному боязно, сам понимаешь.

Ясно, что не отвяжется «лучший охотник»: после безвинно загубленного Пегаски Саньке чрезвычайно необходимо было реабилитироваться перед народом. Пинагорью уху Феофан так и не доел, не торопясь оделся, снял с гвоздя в кладовке «двадцатку» и пошел с Санькой Турачкиным на медведя.

Они сделали засаду метрах в пятидесяти от сальницы, на вершине разлапистого верескового куста.

Легли прямо на ветки, поэтому хвоинки и сучки покусывали тело.

Ветер дул такой, какой надо, – вдоль берега, с севера, как раз оттуда должен был подкрасться разбойный медведь. Так что их запах был для него недостижим. С юга ему не подойти – там деревня, с запада – пустырь – местный аэродром, с востока – море.

Один путь – с севера.

Разговаривали шепотом.

– Во сколько придет, как думаешь? – нервничал Турачкин и гладил рукавом ствол карабина – стряхивал прилипшие хвоинки.

– Ему виднее, у тебя не спросил, – Феофану разговаривать не хотелось, ему было зябко и, в общем, жутковато.

Ветер позванивал вересковой хвоей. Стояла густая прохладная ночь середины августа, наполненная всевозможными звуками и запахами. Высоко-высоко в небе, под самыми звездочками, пластался черный, весь в разрывах, дым. Звездочки вымаргивали в этих разрывах и тут же снова окунались в черные клубы. Это летели с севера на юг дальние холодные облака. Все кусты кругом казались лежащими на земле медведями.

– Интересно, он на рану силен или нет? – постукивал Санька зубами. Потом предложил: – Давай для точности глаза и руки, – и достал из внутреннего кармана флягу, отвинтил крышку.

В нос Феофану крепко ударил запах браги. Санька опрокинул флягу в рот и сделал несколько крупных глотков, передал Павловскому.

– Глотни для храбрости, не повредит. Сам делал, на чистых дрожжах, вкуснота, спасу нету... Эх, бражка-милашка!..

После браги Турачкин замурлыкал потихонечку какой-то простенький мотив, потом протяжно рыгнул и вдруг захрапывал, уткнувшись лбом о приклад карабина.

«Охотничек, мать твою», – почти равнодушно подумал Феофан и стал глядеть на море, на верхушки волн, мерцающие звездными искрами размеренно и тускло.

Не заметил, как задремал сам. Его разбудил какой-то шорох. Открыв глаза, Феофан разглядел в малость просветлевших уже сумерках черный силуэт, медленнодвигающийся по песку к сальнице.

С той стороны доносилось тихое и мерное поскрипывание песка. «Вот ты беда, медведь идет!» В висках ускоряющимися ударами застучала кровь.

Феофан сильно ударил локтем в бок Саньку:

– Медведь!

Тот со сна ойкнул, распахнул глаза, но врубился быстро, зашептал: «Где? Где?»

– Вон, балбесина, не видишь!

Турачкин увидел, засучил руками, стал выпрастывать ремень карабина, зацепившийся за ветку. При этом сильно шепотом матюгался.

Медведь, вероятно услышав посторонние звуки, остановился, прислушался. Санька меж тем приложился к прикладу, скомандовал шепотом: «Раз, два, три!»

Феофан нажал на курок, глаза ослепил огонь, и резко нахлынула тишина. Только по кустам что-то шуршало: шлеп, шлеп.

Санька Турачкин, зверски ругаясь, вскочил и, стоя, начал лупить из карабина по кустам. Потом вдруг побежал туда, куда стрелял. Скоро вернулся, сел, понурый, рядом с Феофаном, закурил.

– Ты чего вместе со мной-то не выстрелил, собирался вроде? – спросил его Павловский.

На Турачкине не было лица, и весь он выглядел как побитый пес: глаза потупленные, хвост прижат.

– Патрон в патронник забыл дослать, первый раз на медведя, волнение, только клекнул – и все. Надо же, а...

Феофан хохотал над Санькой долго, сидел на кокорине и хохотал. Турачкин спросил:

– А ты-то чего не попал, вроде ведь выцелил? Я смотрел, крови на следах нету.

– Так я же седьмым номером шмальнул, «пшенкой». Какая может быть кровь?

– У тебя что, пули даже с собой нету?

– Не-а.

Надо бы и Саньке теперь посмеяться, да не до смеха ему, все же крепко он опростоволохился. Самолучшее оружие доверили, честь, можно сказать, оказали... Надо же...

По дороге домой он сообщил, что медведь-то меченый – на левой передней лапе не хватает указательного пальца, беспалый медведь.

– То ли вырвал где, то ли с рождения так. Это бывает.

Еще он просил Феофана не рассказывать никому про их приключение. А то засмеют ведь, клички какие-нибудь приклеят, народ на язык остер.

Все же выстрелы в деревне слышали, и Пищихин допытывался: в кого стреляли, почему не попали? Ему объяснили, что стреляли на шум: медведь, мол, ходил далеко в кустах, но ворчал, в его сторону и стреляли, чтоб отпугнуть от сальницы. Пищихин был доволен.

– Ну, теперь не подойдет больше, напуганный...

Феофан считал так же. Через пару дней ударила «морянка» – сильный шторм, рыбаки выехали с тонь домой, зверя никто пока не сдавал, и он закрыл сальницу на замок, для пушного спокойствия приколотил поперек двери два толстых горбыля, крест-накрест, как в свое время делали на военкоматах, когда все уходило на фронт.

Через день к нему домой прибежала Люда Петрова, телятница. Собирала она анфельцию на берегу и увидела такое...

– Разор там у тебя, – сообщила, – двери с корнем выдраны...

Ну, двери не двери, а горбыли и замок были и в самом деле отодраны. Действительно, какая силища... В сальнице мишка набедокурил на этот раз шибче, чем раньше: изодрал три шкуры, все раскидал, а потом, зайдясь, видно, в разгульном кураже, опрокинул на пол тяжеленный чан со шкварками – все было залито вонючим суслом.

Прибежал Санька Турачкин, откуда-то узнал тоже про новое нападение. Сел рядом с Феофаном на бревно, поглядел на безобразие.

– Это он нам отомстил, падла, за испуг свой, – сделал заключение Санька. – Злопамятный, гад!

Он нашел на песке самые четкие следы, стал показывать:

– Видишь, вот левая передняя, вот пальца одного не хватает. Тот самый безобразничает, беспалый.

Действительно, когтей на лапе было четыре, а не пять, как на остальных.

Пришел и Пищихин, оценил обстановку, поматюгался.

– По миру нас пустит, так растак! На полтыщи уже убытку принес, не меньше! Это ж шутка сказать... – Потом отдал распоряжение Турачкину: – Чтобы этот ваш одноглазый, или, как там его, ушкуй этот, был немедленно отстрелян. Иначе деньги с тебя и Павловского высчитаю, как с бездельников. – И ушел, энергично бормоча что-то в смысле «трах-тах-тта-тта-тах». В общем, смысл был понятен.

– Раскомандовался, видали ево, – вяло возразил вослед ему Санька. – Сам ты одноглазый.

Посидели они, покурили, и Турачкин сказал:

– И в самом деле, «решать» надо этого медведяру. Вопрос чести. Я тут пошевелю извилиной, покумекаю...

Самокритичный он насчет своей извилины.

Через день под вечер они сидели в стоге сена на Кирил-лихиной пожне. Стратегическая задумка Саньки Турачкина заключалась в том, что пожня эта как раз на дороге Беспалого к сальнице. До нее отсюда – всего с полкилометра, а дальше начинается чащоба, ельник. Где-то там медведь залегает на день, оттуда выходит ночью куролесить.

Но главная мудрость заключалась не в этом. Охотничья гениальность Саньки воплотилась в том, что метрах в сорока от стога бродил козел по имени Валет. Козел был привязан на веревке. С другого конца веревка крепилась за кол, воткнутый в землю. Валет и служил приманкой, он расхаживал вокруг кола, тряс своей козлиной бородашкой и беспрестанно блеял.

– Затвор-то на этот раз хоть передернул? – не без основания интересовался Феофан. – А то получится, как в прошлый раз.

Санька болезненно кривился. Вспоминать свой позор не хотелось, переводил разговор:



– А сам-то пулю взял, опять «пшенкой» лупанешь?

Провинились они оба, чего там говорить.

Время летело медленно.

Санька ворочался на сене, несколько раз прикладывался опять к фляге, нервничал:

– Вдруг козла тяпнуть успеет, пока застрелим? Пищихин штаны с нас тогда снимет. Валет-то производитель, сказывают, что надо, из других деревень коз к нему приводят. Сексуальный рекордсмен...

Августовская ночь опускалась на землю плавно, с неохотой, принося с собой сыроватую зябкость, настороженность, неуют.

Окружающие предметы теряли привычные формы, становились неузнаваемыми, похожими на больших странных зверей.

В ночном лесу, в самом воздухе, началось таинственное, жутковатое движение теней. То вдалеке, то где-то рядом пронзительно вскрикивали ночные птицы.

Колхозное имущество – козел Валет, не привыкший спать в ночном лесу, видно, побаивался этих звуков и теней и частенько громко взблеивал.

Турачкин от этих взблеиваний вздрагивал, но действия Валета одобрял:

– Валяй, козлятина, валяй, подманивай зверюгу.

Ветерок, потерявший в сумерках свое направление, кидался в разные стороны. Иногда он поддувал со стороны Валета, и Санька затыкал нос, плевался:

– Воняет как от падали. Помылся бы хоть, что ли, гад такой. Как его козы выносят?

Ночь они отдежурили честно. По очереди накоротке вздремнули, но беспалый медведь так и не пришел.

Утром разом зазвенели, защибетали кругом птицы, на востоке солнце сначала раскидало во всю горизонтальную ширь густую малиновую зарю, а потом размыло ее и вскинулось над верхушками окружавших пожню елок, белесое, чистое, обещающее погожий день. Валет, подохрипший и уставший от ночных тревог, лег на траву, подогнув ноги, закемарил.

– Во обнаглел, медведяра! – жаловался Санька. – Ему мясо предлагают свеженькое, душистое, а он выламывается!

Днем, к обеду, солнце нагнало жару, сидеть в сене без долгого движения стало неважноту. Турачкин ерзал, наконец взмолился:

– Пойдем, Фаня, перекусим, что ли? Какой сейчас медведь, посередке-то дня? Спит он где-нибудь на лежке. Днем медведи не охотятся, это точно.

– А вдруг? – засомневался Феофан. Хотя валяться на солнцепеке и ему порядком надоело.

– Не-е! Говорю – значит знаю.

Ну что спорить со специалистом? Они сползли с зарода и направились на обед.

Вернулись часа через три, размявшиеся, отдохнувшие, с запасом еды.

И Санька заорал:

– Где козел, мать его за ногу?!

Валет действительно куда-то пропал вместе с веревкой и даже колом.

Турачкин горячился, бегал туда-сюда, искал Валетовы следы, чтобы хоть определить направление его побега. Наконец нашел!

Как стоял, так и сел, прямо на траву. Снял с лысой головы кепку, шмякнул ее в сердцах оземь.

– Иди сюда, – негромко сказал Феофану.

Тот подошел.

Средь вырванной травы четко виднелся медвежий след с четырьмя когтями. Турачкин тихо, с присвистом, как бы про себя, заматюгался. Сидел он так несколько минут, шептал бессвязную ругань, покачивался, переживал потрясение. Феофан не знал, что делать: то ли горевать по козлу, то ли смеяться над Санькой и самим собой.

– Ты же сказал, что они не охотятся днем, ушкуи-то, – подначил он впавшего в прострацию Турачкина, переживающего очередной позор.

Тот даже не огрызнулся, совсем упал духом.

Через какое-то время начал соображать.

– Сидел где-то тут за кустом, караулил, когда надоест нам. Дождлся, змей... Вот Пищихин-то... теперь кураж устроит. Скажет, производителя медведю скормили за здорово живешь... Козлы же мы, а...

Козла они нашли уже под вечер метрах в четырехстах от Кириллихиной пожни, в густых елках, в кокорнике. Сначала наткнулся на веревку Феофан, потом увидели козла, вернее, то, что от него осталось.

Рога и копыта в буквальном смысле.

Саньку Турачкина с тех пор зовут Медвежатником.

К Феофану никакая кличка не пристала, потому что он был у Медвежатника на подхвате, ассистентом был. Санька сдал обратно на склад карабин и сдался сам – отказался от медвежьей охоты.

А у Феофана была еще не одна встреча с Беспалым.

Однажды попался в юнды морской заяц, огромный лах-так-тюлень.

Феофан освеживал его прямо в воде: попробуй такую тушу завалить в карбас!

Да никогда в жизни, человек пять надо, не меньше. Одна шкура с салом килограммов сто весит.

Ножом с краю шкуры он сделал прорез, продел веревку, привязал к ней якорь и бросил якорь в залудье, ближе корги – каменной россыпи.

Пусть поплавают шкура день-другой, потом он пойдет на дорке в деревню и заберет шкуру, отвезет на сальницу.

После ужина, уже в сумерках, Феофан вышел к морю, сел на бревнышко и закурил.

На море был отлив, матово отсвечивал длинный заплесток, и торчали из воды камни.

Метрах в ста от него, у корги, кто-то бродил по мелкой воде и крепко ругался.

«Кто же это может быть? – предполагал Феофан. – Может, Толя Полотухин? Только что он запоздал-то так?»

Толя Полотухин сидел на соседней тоне – Спасской, километрах в двух, и иногда навещался к нему, чтобы скрасить одиночество.

«Наверно, приехал на дорке, ткнулся в коргу, в мель, не может выбраться».

Толя кряхтел там, в темноте, ворчал, барахтался со своей доркой.

«Что ты, в первый раз? Мель эту не знаешь? В сухую воду решил протолкаться, вот дуреха!» – так размышлял Феофан о Толе и покуривал.

Толя меж тем что-то ворчливо бормотал и все приближался...

То, что это не Толя, Феофан разглядел слишком поздно и удрать не успел. Это был Беспалый, который тянул к берегу от корги стокилограммовую шкуру вместе с якорем.

Шкура и якорь здорово упирались, цеплялись за камни, и медведь крепко ворчал, был недоволен.

Удирать было поздно. Беспалый вышел прямо к нему, нос к носу...

– Васька! – крикнул Феофан, сильно струхнув. – Брось шкуру!

Они разбежались в разные стороны.

Но в сальницу Беспалый больше не полез. И не потому совсем, что образумился наконец или же оробел. В его отчаянной наглости и готовности совершить новое вероломство сомневаться не приходилось.

Просто Феофан пошел на хитрость – стал подкармливать медведя.

Он попросил рыбаков привозить к сальнице не одни только шкуры, а целых нерп, неосвеженных. У сальницы снимали теперь шкуры, и рауки – нерпичьи тушки – Феофан бросал в кусты за сальницей.

Каждое утро это место навещал.

И почти всякий раз видел там остатки медвежьего пиршества и следы, следы...

Следы Беспалого.

Так они и жили до сентября, и жизнь эта стала привычной. А в сентябре Феофан однажды увидел на песке рядом со следами Беспалого другой медвежий след, более мелкий и тонкий, – след медведицы.

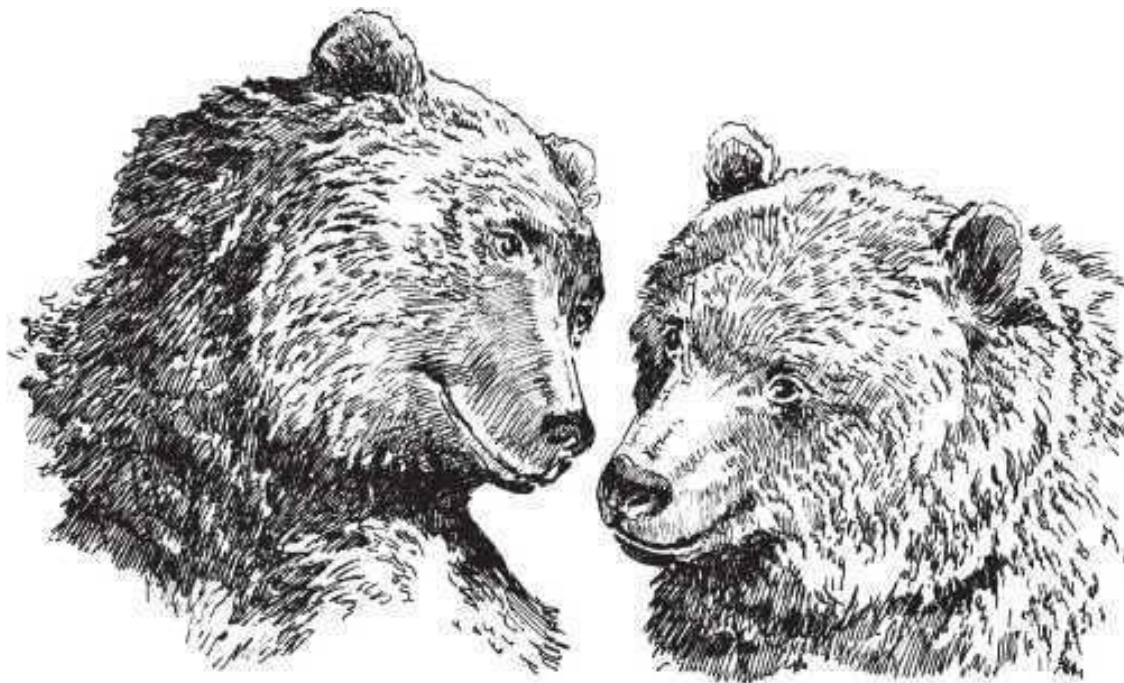
И услышал темной и теплой ночью в лесу страстный и восторженный медвежий рев.

Так режут влюбленные медведи.

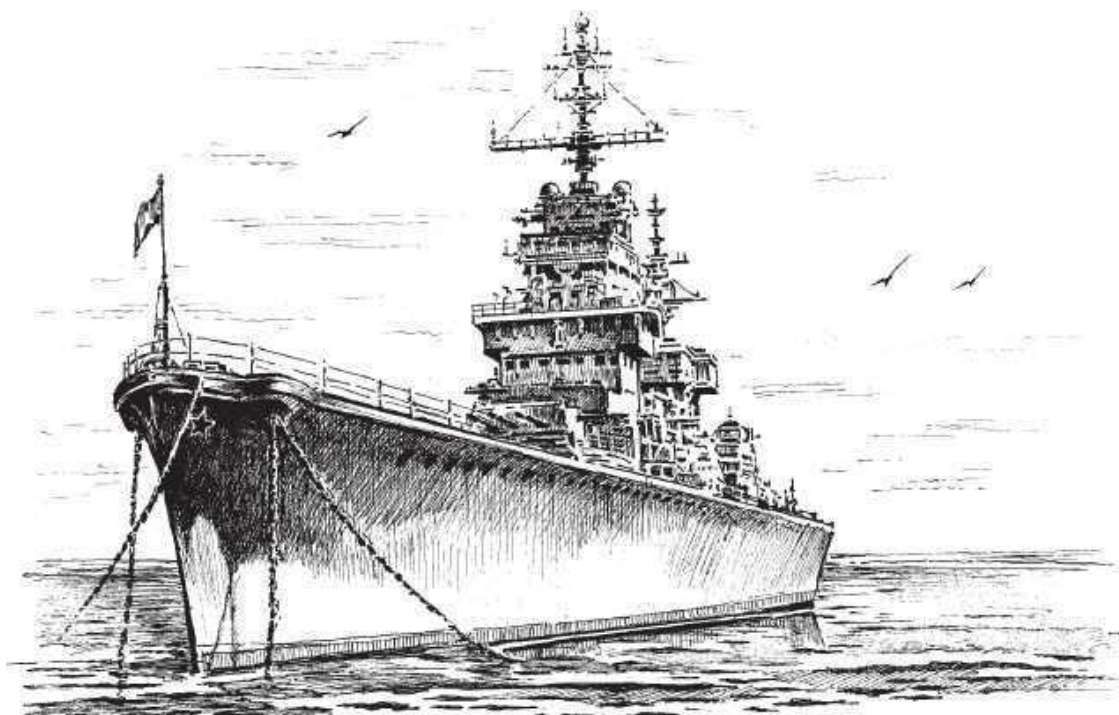
И больше никогда в жизни не видел он ни самого Беспалого, ни его следов.

Увела его любовь в другие лесные дали.

И стало немного грустно. Будто от жизни оторвалась какая-то дорогая и важная частица, упала на дорогу и потерялась, и на том месте, где она оторвалась, образовалась прохлада и пустота.



## Моряк со «Стремительного»



Сколько лет я себя помню, в море, на траверзе нашей деревни, всегда ходило много разных военных кораблей. Вероятно, Белое море являлось для них родным водоемом, где они резвились как дети малые, хвастались друг перед другом своими пушками, радарами, красотой боевых форм.

Иногда корабли крепко хулиганили. Однажды сын нашего председателя сельского Совета Герасим Петров шел по берегу пешком из соседней деревни Летний Наволок в родную деревню Лопшеньгу. Где-то на полпути его обстреляли орудия военного судна, что ходило в море километрах в трех от берега. Конечно, с судна никто Герасима не видел, конечно, стреляли военные по какой-то там мишени, устроенной на берегу, и, конечно, снаряды были холостые. Но, как всегда, наши доблестные краснофлотцы, понадеялись на авось и на то, что берега наши, как всегда, пустынные, боевого охранения не выставили, и хороший парень Герасим попал в серьезную заваруху. Снаряды со страшным гулом проносились у него над головой, некоторые падали довольно близко. Наш Герасим в такой боевой обстановке еще не бывал, он спрятался за огромный песчаный бугор и крепко перепугался.

Некоторые злые языки что-то рассказывали о содержимом его штанов в тот непростой момент, но я не знаю точно той ситуации и не буду наговаривать на замечательного человека и славного земляка Герасима Петрова.

Знаю только, что его отец, Степан Матвеевич, ветеран войны и председатель сельсовета, поднял по этому поводу страшную бучу. Кому-то из военных, вероятно, крепко всыпали, и оружейные обстрелы наших берегов раз и навсегда прекратились.

Еще с довоенных времен в городе Молотовск (ныне – Северодвинск), что в ста километрах от нашей деревни, началось строительство дизельных подводных лодок. Вновь построенные субмарины проходили обкатку прямо напротив нашей деревни. Ох и шумные эти создания были – дизельные подлодки! В надводном положении стук их дизелей был слышен на добрый десяток километров.

Выйдешь, бывало, в белую ночь на берег, сядешь на бревно – и слышишь, как где-то далеко-далеко над морем разносится гул работающих моторов. Ну, где же она – подводная лодка? И только с трудом увидишь, как на самом краешке сизого горизонта, над еле видимой линией морской дали, чуть-чуть возвышается маленький носик и маленькая рубка гуляющей по горизонту таинственной субмарины.

Я был совсем несмышленным тогда, но эти картинки помню до мелочей.

Когда мне было лет семь или восемь, в Северодвинске начали строить атомные подводные лодки. Для их производства потребовался большой приток рабочей силы, и множество ребят с Белого моря, окончивших восьмилетку, стали уезжать в северодвинские ПТУ – профтехучилища, готовившие слесарей, фрезеровщиков, электриков, сварщиков и специалистов всех других, необходимых для судостроения специальностей.

И вот время от времени мимо нашей деревни стали проплывать огромные китообразные черные чудовища с задранной мордой и торчащими из воды хвостами. Я украдкой разглядывал их в бинокль, а мой отец – бывший краснофлотец-североморец, меня увещевал и потихоньку шептал:

– Ты, Паша, будь поаккуратней, оттуда люди тоже на тебя смотрят. Это же секретные атомные корабли. Знаешь, какие у них приборы наблюдения? Они наверняка каждую пуговицу на тебе разглядывают.

Осознание этого несомненного факта рождало одновременно и чувство гордости за нашу военную технику, и очевидную жутковатость: а ну, если эти их приборы тебя и в бане разглядывают, и в туалете? Создавалось ощущение полной подконтрольности хитроумной военной техники. Мы, деревенская ребятня, откровенно побаивались этих вездесущих глаз военных кораблей. Хотя теперь я понимаю, что все такие легенды создавались нашими родителями с благороднейшей целью – обуздать нашу шкодливость. То, что они секретные, эти самые атомные подлодки, было понятно и так. Приезжавшие в отпуск из Северодвинска земляки загадочно закатывали глаза, когда их спрашивали, чем это они занимаются на работе, и мычали что-то вроде:

– Эт-то, брат, большой секрет.

На высоких местах берега стали возводиться маяки. Их обслуживали местные жители, которых стали называть маячниками.

И когда в августовские и сентябрьские вечера мы с отцом ходили на моторной лодке вдоль берега, кругом – то там, то тут – вспыхивали яркие огоньки маяков. И я считал, через сколько секунд загорается вон этот маяк, через сколько – вон тот, и тот, третий.

Темнота северной ночи не казалась от этого такой уже темной, и огоньки на берегу вели нас к цели, к дому.

Однажды я совершил воинское преступление: я погасил маяк. Дело было летом, в жаркие июльские денечки. Мы с мамой и сестрой Лидой гребли сено на склоне пологого угора, распластанного напротив морского простора. К полудню все мы маленько притомились от работы и от жаркого солнышка, и мама дала заветную команду:

– Давай-ко, ребятки, пообедаем.

Эх, посреди летнего разнотравья, разогретого летним теплом, свежего дурмана высушенной травы, да рядом с костерком, на котором шкварчит кипящий чайник, да с видом на белесосинее море, в котором на горизонте купаются белые-белые облака, так бесконечно отрадно поесть привезенной с собой свежеежареной селедочки, попить холодненького молочка из-под своей коровушки... А молочко холодное потому, что оно в бутылке, положенной в струи ручья, бегущего прямо по нашей поже...

После плотного перекуса мы лежим в тенечке под густым ивовым кустом, слушаем сердитое гудение летающих где-то рядом вечных тружеников – шмелей и дремлем.

Впрочем, безмятежно дремлют лишь мама да сестра Лида. Меня же тайно тербит, не дает авантюрной душе моей успокоения крепкая забота-заботушка. Я весь уже там – у маяка, высящегося на самой вершине угора, считай, прямо над нашей пожней. Уже много раз проплывал я вместе с отцом вдоль морского берега мимо него, разглядывал снизу. В дневное время мигающего огонька не было видно, но во время вечернее там, в вышине, над черной громадой высоченного холма, через равномерные промежутки времени вспыхивала стеклянная бочка. Северная вечерняя темнота скрывала очертания деревянного маячного строения, и эта бочка словно висела, ничем не поддерживаемая, в черноте неба.

Все равно был перекур, и я спросил у дремлющей мамы:

– Можно мне к маяку сбегать?

Мама, утомленная домашними и сенокосными работами, разогретая солнышком, лежа на теплой травке, закрыв полусогнутой рукой глаза, проморгала опасный момент. Она мне ничего не ответила, только приподняла в разморенном движении и опустила обратно на траву загорелую свою другую руку Дураку ясно, что это движение означало полное ее согласие с поставленным мною коварным вопросом. Так люди принимают опрометчивые решения. Мама продолжила дремать, вероятно, не особенно-то и разобрав, что же такое спросил у нее бедовый ее сыночек. Мать моя поступила легкомысленно.

Спустя совсем немного времени я был уже в зоне недостигаемости маминого оклика, если бы такой вдруг последовал. Еще через несколько минут я продрался через последние кусты и взобрался на вершину угора.

Передо мной возвысилась четырехсторонняя маячная громада. Доски, выкрашенные в белый цвет, уходили вверх, сужаясь там, в далекой выси. На всю высоту, снизу доверху, посреди каждой белой стороны пролегалла широкая черная полоса.

Понятно каждому непонятливому гражданину, что самой первой мыслью, залетевшей в мою авантюрную мальчишечью голову, было не восторженное созерцание деревянного шедевра, а вполне конкретное изучение таинственного маячного устройства, спрятанного где-то в его чреве. Больше всего на свете хотелось мне разобраться: как же, с помощью какой неведомой силы мигает на самом верху этой хламины ровно через каждые шесть секунд яркий огонь? Настолько яркий, что виден в каждой точке нашего бескрайнего моря.

Первым делом я проник на площадку первого этажа. Благо, деревянная дверь была совсем даже не заперта. Говоря точнее, замка на двери не было, а вместо него в металлическую дугу была воткнута простая обструганная палочка. Ну а если замка нет, значит, люди доверяют мне войти в эту дверь. Что я и сделал.

В углу на деревянном настиле стояла сколоченная из досок будка. На ней-то и висел огромный замочище. Рядом с ней лежало несколько (наверно, пустых и огромных – с мой рост) баллонов, на каждом из которых красными аккуратными буквами было написано: «Газ ацетилен. Руками не трогать! Пожароопасно!». Надпись была пугающая, и я не притронулся к этим жутковатым баллонам. Долбанет еще, в самом деле... Да и потом, не внизу же, не здесь, вспыхивает маячный огонь. Надо забираться наверх. Все интересные дела там.

Путь к маячной вершине пролегал через четыре высоченные лестницы (как я узнал потом, каждая высотой по пять метров), после лестницы шла площадка. Переходишь площадку – опять лестница. Вниз и по сторонам старался не глядеть: после третьей лестницы глянул вбок – и захотелось быстро-быстро вернуться назад. Кусты и деревья оказались где-то внизу, и еще бросился в глаза край обрыва и уходящее вниз пространство...

Но я же готовился поступать в Суворовское училище. Мне нельзя было малодушничать.

Я постоял с закрытыми глазами на третьей площадке и крепко взялся за поручень последней лестницы...

В конце ее, перед самым окончанием подъема, дорогу преградил закрытый люк.

Вдруг и на нем висит какой-нибудь замок? Попытался приподнять его руками, но сил не хватило, и я навалился спиной. Тяжелая крышка поднялась, повернулась на шарнирах и отвалилась набок. Путь к таинственному маячному свету был открыт!

Какое-то время я сидел на последней площадке и боялся открыть глаза.

Первое, что я увидел, когда со страхом приподнял веки, – это бесконечное синее пространство распахнувшегося моря. То, что оно совсем близко, маленько меня успокоило. На море стоял штиль, и далеко от берега плыл в нем маленький кит – белуха. Он поднимался к поверхности из морских глубин, глотал порцию воздуха, и опять уходил в придонные места, чтобы гоняться за любимым своим лакомством – селедкой. Отсюда, с большой высоты, странно было видеть, что силуэт белухи, уходящей вглубь, не пропадает сразу, а, ломающийся и тающий в толще воды, виден еще долго.

Но надо было осваиваться на этой жутковатой высоте. Я стал оглядываться.

Сначала нашел глазами маму и сестру Лиду. Вон они, далеко от меня, между морем и краем холма, на серо-золотистой площадке скошенной пожни. Уже поднялись от дремы, ходят по травяной стерне и что-то там делают. Мама, скорее всего, меня поругивает, спрашивает Лиду, куда же я пропал. Да ладно уж, скоро я прибегу, совсем скоро.

Передо мной на толстом красном металлическом постаменте висит огромная прозрачная бочка, вероятно, сделанная из толстого стекла. Вот это и есть объект давнего-давнего моего интереса. Что же это за штукавина такая? Что в ней спрятано такое, что светит на все море? Как же устроена эта чудесная вещь?

Очень не хотелось мне подниматься на ноги. Страшно было сделать любое движение на такой высоте. Тем более явно ощущалось, что маячное это строение – не такая уж и надежная штука: всем телом я чувствовал, что вершина маяка покачивается на ветру. Да и перила, опоясывающие верхнюю площадку, казались мне хлипкими, совершенно ненадежными. Казалось мне: обопрись на них – и полетишь вниз вместе с дощечками и столбиками, из которых они сварганены.

Но подниматься надо было, и я поднялся. И вцепился руками в стеклянную бочку.

Прямо передо мной оказалось чрево этой стеклянной громадины. Показалось мне, что в нем, этом чреве, расположено множество линз, линзочек, стеклянных уголков, других искусно сделанных прозрачных предметов. А посреди них, в самой сердцевине стеклянно-хрустальных чудес, бьется яркое крохотное сердечко: там время от времени вспыхивает тонкий, слегка удлинённый огонек. Огонек этот отражается во всех изгибах цветного хрусталя, во всех линзах и линзочках, и яркое пламя дивных огней заполняет все пространство стеклянной бочки.

Ничего подобного я никогда не видел. Это огненное волшебство было настоящим чудом!

И уж выше всяких моих сил было жгучее стремление заглянуть туда, вовнутрь, проникнуть в сказочный хрустальный мир, заполненный волшебным светом.

Все сущее на земле имеет к себе какой-нибудь доступ. Маяк – не исключение. Дверца, ведущая к таинственному огоньку, нашлась скоро. Сбоку, на стеклянной бочке, обнаружил я стальной крючок. Откинул его вверх – дверца и открылась.

Там, в глубине, посередке бочки, что-то слегка регулярно хлопало. Да это и есть тот самый огонек! Только не огромный, во всю ширину стеклянных чудес, а совсем маленький, как пламя свечки.

Он трепыхался во чреве стеклянного изобилия, его окружавшего, словно крохотное сердечко в чьем-то большом теле. «Как же он светит на все море?» – подумалось мне. В своем далеком детстве я совсем не знал законов физики, так разительно меняющих мир.

Не знал я и того, что мне ни в коем случае нельзя было открывать ту стеклянную дверцу. В ту же самую секунду дунул порыв ветра, и огонек вдруг погас.

Я не знал, что мне делать. Несколько раз распахнул и опять закрыл дверцу – результата не было, огонь не горел.

Вот тогда я и понял, что совершил воинское преступление. Хорошо мне было известно, что маяк служит для ориентации кораблей в море. Нет маяка – и корабли, как слепые котята, могут сойти с курса, заблудиться, потеряться и не выполнить боевую задачу.

А еще хуже, если, потерявшись в штормах и туманах, в отсутствие видимости они начнут ударяться друг о друга... Тут и до гибели людей недалеко.

Мысли у меня были прескверные. Вот уж натворил, так натворил!

Дома не удержался и задал отцу вопрос: что сделают с человеком, если он погасит маяк? Все же отец служил на флоте и много чего повидал.

Он ответил коротко и определенно: если на войне, то расстреляют. Потом он оторвался от газеты и уставился на меня подозрительно:

– А зачем это тебе, Паша?

– Да так, чтобы знать. Мало ли какие придурки бывают.

Вот тебе и перспектива. Ну, до расстрела, может, и не дойдет, все же не военное время, но в детскую колонию отправят, точно. Нашего брата хулигана этим пугали постоянно.

Ареста и отправки в колонию ждал два дня.

Картина мерещилась ужасная: ведут меня по всей деревенской улице промеж толпящихся односельчан два милиционера. Оба со здоровенными наганами наперевес, а люди говорят мне горькую правду:

– Эх, Паша, Паша, ты с виду парень неплохой. И поспеваешь в школе хорошо, и в клубе песни поешь славно, а на самом деле такой ты бандюган оказался! Это ж надо: весь Северный флот подвел. Вот теперь в колонии-то посиди лет двадцать. Может, там ума тебе добавят.

Мысли мои были печальны.

Через два дня к нам в дом явился уважаемый в деревне человек, Тюков Ким Иванович, начальник всего маячного хозяйства, и сел передо мной на лавку. Откуда он узнал, что это именно я натворил столько бед, до сих пор не могу себе представить. Отец и мать почему-то оказались в тот момент не на работе, а тоже дома. Теперь-то я понимаю, что они сговорились, а тогда все было как назло.

Ким Иванович какое-то время сидел молча и сердито сопел. Я думал: «Сейчас как даст по затылку!»

Лучше было бы, если бы и дал. Но он сидел, молчал и только медленно переваливался с боку на бок.

– Ну что, Павел, будешь еще так делать? – спросил он наконец тихим, но очень твердым голосом.

И тут меня прорвало. Сказались дни реальных переживаний: я ведь совсем не хотел вредить ни маячной службе, ни военным кораблям. Я был обычным деревенским шалопаем, сующим свой нос куда не следует. Я зашелся в слезах и завыл совершенно искренне и честно.

Не знаю, почему простил меня хороший человек, Ким Иванович? Может, потому, что понял меня, любопытного мальчишку, и догадался, что я никогда больше не принесу вреда его хозяйству.

Доверие его я оправдал. Мы поддерживали добрые отношения с его сыном, Сашкой Тюковым, моим одноклассником.

Как далеко теперь все это – и фосфорный шорох воды, и темные силуэты холмов, и доброе лицо отца, освещенное блеклым светлячком вечной папиросы, и эти мерцающие огоньки маяков – путеводных звездочек, плывущих в море кораблей.

Все это – картинки моего уплывающего за далекий горизонт детства.

И вот однажды напротив нашей деревни бросил якорь военный корабль.

Стояло лето, не помню, какого года, мне было тогда десять или одиннадцать лет, и я был вполне сформировавшимся молодым человеком, способным на дерзкие поступки.

По какой-то мальчишеской надобности я вышел в тот день на морской берег и увидел чудо.

В солнечной дорожке, длинным-предлинным треугольником разбросанной в колыхании мелких синих волн, на дальнем ее конце, я увидел очертания боевого корабля.

Какая картина может быть милее и желаннее для любого мальчика, чем вид корабельных надстроек военного судна? Эти строгие и точные линии хищного морского охотника, эти пушки и пулеметы, эти рубки и флаги!

Корабль стоял совсем недалеко, может быть, в километре от берега, торжественный и надменный, и блики солнечной дорожки, казалось мне, плясали по его неотразимым серо-голубым формам.

Не знаю, какая сила толкнула меня на этот шаг, но я подошел к заплестку, где стоял слегка затянутый носом на песок и лениво булькался кормой в мелкой волне карбасок соседа – Николая Семеновича. Добрейший сосед никогда не бранил меня за то, что я пользовался его карбаском, потому что всегда возвращал его на место. А еще потакал мне сосед за то, что я каждый день, увидев его около дома, кричал на всю деревню:

– Здравствуй-ко, дядя Коля!

А жене его кричал:

– Здравствуй-ко, тетушка Афия!

Они шутейно кланялись мне и отвечали:

– Здравствуй-ко, Павлушко!

И радостны были мне эти незатейливые соседские величания.

Я поднял с берега якорь-кошку, смотал цепь и аккуратно уложил их в нос карбаса. Затем веслом оттолкнулся от берега, закрепил кочетья и на веслах пошел к кораблю.



Плыл я долго. Карбас шел медленно, так как слабых моих силенок не хватало для упругих гребков. И, похоже, на корабле мою лодку никто не заметил. Я часто оглядывался, чтобы плыть точно.

И вот передо мной свинцово-стальная громада. Я сложил весла и уцепился за толстый канат, висящий вдоль борта.

– Эй, на судне, – крикнул я громко.

Сверху на меня никто не смотрел.

– Эй-е-ей! – прокричал погромче.

Ответа не было. На меня не обращали внимания. Пустой какой-то корабль. Тогда я поднял со дна карбаса плицу, которой вычерпывают воду, и стал стучать ею о железный борт.

Через некоторое время наверху показалось заспанное, молодое, веснушчатое лицо. В безкозырке.

– Ты кто? – спросило меня лицо вполне серьезно.

Я замялся. Что тут скажешь?

– Да я вот из деревни, – ответил я.

Тот, в бескозырке, замахал руками и прошептал:

– Дуй обратно в свою деревню. А то мне влетит сейчас из-за тебя. Как же это я тебя проморгал-то?

Не ждал я такого приема. Я ведь с дружбой, с миром.

Я понял, что этот краснофлотец меня сейчас точно прогонит, потому что он часовой, а меня вместе с карбасом он прозевал и хочет скрыть следы своего разгильдяйского отношения к боевой службе.

– Давай-давай, отчаливай, – стал вполголоса страдать меня матрос. – А то сейчас багром оттолкну. Разъездились тут. Это тебе, парень, военный корабль, а не пассажирское корыто.

Мне терять было нечего. Плыть домой не солоно хлебавши не хотелось.

– Вот что, – сказал я громко и твердо, – давай мне командира, с ним и буду разговаривать. А с тобой только время теряю.

Матрос прямо захлебнулся от возмущения.

– Чего ты орешь? – зашептал он сипло. – Сейчас я тебе дам командира, такого командира я тебе сейчас дам! Отчаливай немедленно!

Он стал зыркать по сторонам, ища какой-нибудь тяжелый предмет на палубе.

– Я сейчас ведро на твою башку сброшу, – пообещал он свирепо.

Вдруг послышалось на палубе какое-то шебуршание, а потом голос:

– Коробыцын, что там у тебя?

– Из деревни какой-то дурак приплыл на лодке. Я его гоню, а он не отчаливает. Может, в него ведро швырнуть, а, товарищ старший лейтенант?

– Ну и где этот дурак? – спросил голос. И тут же показалась вторая голова в морской офицерской фуражке. Вполне симпатичная голова.

– Ты чего тут делаешь, мальчик? – поинтересовался старший лейтенант.

– Военный корабль хочу посмотреть. Вот и пришел к вам.

– А на флоте служить хочешь?

– Хочу, – твердо ответил я. Честное слово, я совсем не врал.

– Ну, тогда подожди, сейчас тебя поднимем, – заулыбался офицер и приказал мне:

– Сдвинься по ходу вдоль борта на пять метров.

Не понял я, для чего это, но команду выполнил, протащил карбас вперед, держась за канат. Там меня уже ждал Коробыцын, который спустил мне веревочную лестницу с деревянными ступеньками. Старший лейтенант дал команду:

– Закрепи лодку и поднимайся.

Ну, насчет лодки я и без него знал. Крепко привязал конец к канату и полез наверх. Неустойчивая лестница качалась, и я маленько струхнул: все же борт довольно высокий. На самом верху Коробыцын и офицер подхватили меня за шиворот, и в их сильных руках я перелетел через край борта и оказался на палубе.

Старший лейтенант приказал мне стоять на месте, поправил повязку дежурного и пошел на доклад к начальству.

А Коробицын у меня спросил:

– У вас все в деревне такие придурки? Надрать бы тебе сейчас задницу.

Я не стал огрызаться. Я понимал, что матрос, в общем-то, прав. Да и вообще, следует себя культурно вести на чужой территории.

Старший лейтенант вернулся не один. С ним пришел какой-то важный офицер. К тому времени отец уже научил меня различать погоны, и я понял: передо мной капитан третьего ранга.

– Как тебя зовут? – спросил он.

Я ответил. Потом старший поинтересовался:

– Ну что, правда хочешь служить на флоте?

– Так точно, товарищ капитан третьего ранга.

Ответ мой, вероятно, ошеломил офицера. Он заулыбался, посмотрел на старшего лейтенанта.

– Да, парень уже к службе готов. Даже звания знает. Давай, Михалыч, показывай матросу корабль.

И старший лейтенант повел меня в долгий поход по палубе, по отсекам, каютам и кубрикам боевого корабля. Впервые в жизни я потрогал руками холодную и волнующую сталь корабельных пушек, пулеметов, снарядов, в первый раз так близко соприкоснулся с людьми, которые несут реальную военно-морскую службу.

Везде на пути стояли матросы, все они улыбались, тормозили меня, о чем-то спрашивали. Честно говоря, от множества впечатлений, от обилия увиденного я, деревенский мальчишка, сильно волновался.

Потом меня отвели на камбуз – так называлась корабельная кухня, и розовощекий бело-брысый повар накормил меня соленой селедкой, макаронами по-флотски и напоил чаем.

Чего-чего, а селедку я едал изрядно, но вот макароны, фаршированные мясом, произвели на меня такое впечатление, что я до сих пор обожаю это блюдо. Чай тоже оказался необычайно вкусным.

Затем я попал в большое помещение, где был посажен за огромный стол. Помещение, как мне сказали, называлось кают-компанией.

Оно вмиг оказалось набитым целой толпой матросов. Многие уселись за стол, многие стояли вокруг. Все смотрели на меня, вытаращив глаза, и от этого я нервничал. Соскучились, наверно, по гражданскому населению.

Посыпались вопросы: кто я, откуда, как меня зовут, сколько человек в семье, кто родители, как я учусь?

Ну, на этот вопрос отвечать было приятно. Третий класс я окончил даже без четверок, на одни пятерки.

Много вопросов было о нашей деревне: сколько людей и ней живет, сколько домов, чем занимается население, богатый ли у нас колхоз?

Но больше всего вопросов было о наших девушках: сколько их, какие они, как выглядят, есть ли длинноногие?

– А рыжие имеются? – громко интересовался матрос с одной лычкой на погоне.

– Была одна, да в город уехала учиться, – сказал я с сожалением.

– Эх, жалко, а то я бы с тобой вместе на берег поехал.

– Я тебе поеду, размечтался тут, – возразил матрос с двумя лычками, видно, его командир.

– А грудастые девушки есть в наличии? Это был вопрос маленького, худенького и лысого матросика, у которого совсем не было лычек.



Честно говоря, я мало тогда что понимал в женской красоте и крепко путался в ответах на такие вопросы, но грудастую от негрудастой отличить уже мог.

– Клавка есть Федотова, груди уже огромные! – восхищенно сказал я.

Лысоватый вытаращил глаза, запричмокивал.

– А какие у нее груди? Размер какой? Покажи, а, Паша!

Я выставил вперед треугольниками локти:

– Во такие!

Матросик вытянул и без того длинноватое лицо и прошептал:

– То, что надо. А рост у нее какой?

Мне не с чем было сравнить рост Клавки, и я попросил:

– А ты встань, и я скажу.

Худенький матросик под общие смешки поднялся.

Рост у него был невелик.

– Ты ей примерно до носа будешь.

Под общий хохот матрос схватился за сердце и воскликнул:

– Клава Федотова – это мой идеал! Это любовь на всю жизнь. Ребята, дайте бумагу, я буду писать ей письмо.

Он и впрямь двинулся к выходу.

А потом я набрался храбрости и тоже задал вопрос, который очень хотел задать.

– Я бы тоже хотел на флоте служить. Как к вам на службу попасть? – спросил я и крепко смутился. – К вам, наверно, только «отличников» берут.

Кто-то захихикал, но матрос с тремя лычками шикнул на него и, сделав серьезное лицо, сказал мне и всем:

– А как ты думал, Павел? Конечно, на флот призывают только «отличников», причем круглых. Здесь, к примеру, одни «отличники» сидят. Круглые.

Кают-компания грохнула и зашлась в безудержном смехе. Я понял: матросы шутят. Наверно, среди них есть и те, кто имел по одной-две четверки в школе.

Но моего отношения к советскому флоту и, конкретно, к эскадренному кораблю «Стремительный» это совсем не испортило.

Я понимал: шутки шутками, а боевую технику в самом деле могут обслуживать только очень грамотные люди.

Тот, с тремя лычками, мне так и сказал:

– Ты, Павел, учись на пятерки, и тогда тебя возьмут.

Потом началось самое волнующее и приятное. Кто-то спросил:

– Ну, какое желание у тебя есть?

Эх, в самую точку попал! Самым страстным, настоящим желанием моим, как и всей деревенской детворы, было носить военно-морскую форму. Я давно уже износил, истрепал, а потом и потерял бескозырку моего отца, служившего на Северном флоте. Теперь ничего не осталось.

Но как спросить? Вообще, просить что-нибудь у чужих у нас в деревне было не принято. Но и упускать такую возможность было бы глупо.

Я отважился.

– Бескозырку бы мне поносить...

Корабельная команда вытаращила глаза, и кто-то звонким голосом крикнул:

– Правильная постановка вопроса! Парня надо одеть в форму советского матроса! Где у нас каптенармус, где Клычко?

Все загалдели: «Где Клычко? Где Клычко? Давай сюда Клычко».

Кто-то за ним побежал, и вскоре появился старший матрос Клычко – крепкий парень в ладно сидевшей форменке, со спокойными и нахальными глазами.

(Уже потом, будучи взрослым, я узнал, что все военные, связанные с имуществom, имеют такие спокойные и нахальные глаза. Мимо таких муха бесплатно не пролетит.)

– Ну, чего тут галдите? – с сонным выражением лица спросил каптенармус.

– Парня одеть надо, видишь, гость у нас, – сказал матрос с тремя лычками.

Клычко глянул на меня оторопелым сонным взглядом здорового кобеля, которого ненароком разбудила неосторожно пискнувшая мышь.

– Вы чего, обалдели! У нас же размера на него нет! Он же маленький. Да и лишнего нет, все учтено.

Команда засвистела на него, заулюлюкала:

– Не позорь корабль перед населением. Перестань кочевряжиться, все найдешь, если захочешь.

Да и офицер его попросил:

– Найди чего-нибудь. Надо бы одеть молодца.

Клычко скучил свирепую физиономию, развел руками, для порядка покрутил пальцем у виска, глядя на команду, и определил всю ситуацию следующим образом:

– Дети вы малые, а не доблестные краснофлотцы, едри вашу мамку!

И вышел.

На него никто не обиделся, и кто-то сказал с нескрываемым к нему уважением:

– Найдет. Если Клычко сказал, значит, найдет.

Я, правда, понял, что Клычко выразил совсем обратное, но, видимо, матросы лучше понимали друг друга.

И впрямь, совсем немного прошло времени, как дверь кают-компания открылась, и в ней появились сначала руки со стопкой глаженной военно-морской одежды, а затем вполне уже проснувшееся озабоченное лицо старшего матроса Клычко. Он обратился к офицеру:

– Вот, собрал кое-что из неучтенки, товарищ капитан третьего ранга. Конечно, ничего не подойдет, но...

Все заулыбались, сказали слова, приятные Клычко, и меня стали одевать.

Конечно, мне ничего не подошло. Тельняшка была до колен, фланелевка свисала с плеч, брюки надо было застегивать где-то в районе груди, а бескозырка крутилась на голове словно карусель. От всего этого пахло нафталином и чем-то казенно-мужским, и у меня от новых ощущений и от огромного счастья кружилась голова. Будоражило кровь само необычайно яркое и свежее понимание, что я примеряю военно-морскую форму.

Вокруг меня крутились матросы. Они то ставили меня на табуретку, то снимали с нее. С нитками и иголками они что-то загибали, подшивали, зауживали, отрезали, при этом все сильно были возбуждены, волновались и все время друг другу что-то кричали. Я почти оглох и от волнения, от переизбытка новых ощущений совершенно обалдел. Что матросы сделали с бескозыркой, я не знаю, но она мне стала вдруг подходить после многократного примерочного нахлобучивания и стаскивания с головы.

Потом кто-то крикнул:

– Ну, как будто все!

И все вдруг отпрыгнули от меня и стали разглядывать. Глаза у всех растопыренные, все цокают языками, головами крутят, то набок наклонят, то назад.

– Вроде ничего, – оценил кто-то.

– Не-е, не пойдет, – махнул рукой парень с тремя лычками. – Значков не хватает. Какой хороший матрос без значков домой явится? Если их нет – значит плохо служил.

Народ его поддержал, и несколько человек куда-то убежали. Вскоре вернулись с невесть где собранными значками.

И вот два матроса прикручивают и прикалывают мне значки: один на правой стороне груди, другой – на левой. Штуки по четыре с каждой стороны. Я искоса глядел на них и чуть не терял сознание от великой удачи. Ведь каждый значок в деревне – это целое состояние. Любой можно поменять на самую лучшую рогатку, на железный обруч с крючком из проволоки, чтобы гонять с криком по деревне, или на самолучший пугач. Да мало ли что еще может украсить боевое времяпровождение деревенского гопника!

Удача просто обрушилась на меня с неба и крепко придавила.

– Вот теперь все, – подытожил матрос с тремя лычками. – Ребята, несите зеркало.

Когда зеркало принесли, я совершенно себя не узнал. На меня таращился худенький маленький матросик и шмыгал веснушчатым носом. Форма сидела на нем балохонисто и несуразно. Руки он держал по швам. Зато грудь была украшена разноцветными блестками военно-морских заслуг.

– Тебя надо научить честь отдавать, – сказали мне матросы. – Это первое дело для любого военного.

Этому я быстро научился.

– Руку, руку не сгибай, подбородок повыше, – подсказывали мне.

– Так точно! Никак нет! – восклицал я и вскидывал к виску руку.

Это были минуты моего счастья.

Потом меня, одетого в форму военного моряка, усадили пить компот.

Пришло время прощаться.

Уже за компотом меня спросили:

– А чего ты, Паша, больше всего любишь?

Тут особо думать было нечего:

– Я люблю на удочку рыбачить и ходить в кино, – обозначил я свои любимые дела.

– А кино ведь денег стоит. Деньги-то есть на кино? – поинтересовался матрос, сидящий напротив.

Он попал в самую точку. Это была у меня бедовая проблема. В семье у нас пятеро детей. Всех надо одевать, кормить, учить. Денег у родителей все время не хватало...

А кино я любил. Столько в нем было всего, чего не было и не могло быть в нашей деревне! Интересные, захватывающие истории, сильные мужчины, красивые женщины. Другая жизнь...

Особенно нравились фильмы про войну – Гражданскую, потом с немцами. Мы с ребятами в своих играх повторяли подвиги наших солдат – устраивали битвы, ходили в атаку, ложились на пулеметы... Кино было окошком в другой, яркий, необычный, мир. Я очень любил кино. Но денег на сеансы не было. Что оставалось делать? Некоторые ребята за какое-то время до сеанса под разными предлогами проникали в зал, прятались под скамейки. Когда начиналось кино, гас свет, они вылезали и сидели, как ни в чем не бывало, среди взрослых. Те всегда помалкивали, не выдавали безбилетников. Но киномеханик (она же и кассир) Нина Владимировна скоро раскусила аферистов и перед каждым сеансом стала с позором выгонять нас, деревенскую шпану, из-под лавок.

Мне приглянулся другой вариант, которым я частенько пользовался. В противоположном углу от экрана стояла печка-голландка. Передней своей частью она согревала зал, а тыльная сторона находилась вне зала – в коридоре, откуда она и топила.

Стенка печки и угол коридора образовывали закуток, в который можно было спрятаться и вскарабкаться на саму печку, то есть оказаться в зале.

На печке обычно устраивалось по два-три человека. И хотя зимой, когда печку сильно топили, наверху стояла жуткая жара, все равно сам просмотр фильма был дороже всего. Сидишь – перед тобой раскручивается какая-то история. А под тобой – зрители: деревенские мужики да женщины.

Нина Владимировна, конечно, знала о наших проделках и пыталась прекратить их. Как коршун подлетала она к печке с тыльной стороны и кричала нам наверх:

– А ну слезай, хулиганье! Сейчас председателя сельсовета вызову!

На печку самой ей было не залезть. Мы знали, что председатель, Степан Матвеевич, – человек солидный и такой ерундой заниматься не будет. Поэтому мы и не боялись. Как тетеревята прячутся от хищной птицы в кроне дерева, так и мы прижимались друг к дружке и сидели на печке тихо-тихо.

Об этих проблемах я и рассказал экипажу эсминца. Матросы задумались. Потом один сказал:

– Надо писать письмо Нине Владимировне.

Быстро нашли бумагу, авторучку, выбрали у кого самый лучший почерк и стали пишущему вразнобой диктовать. После множества дополнений и исправлений текст письма получился следующий:

«Уважаемая Нина Владимировна!

Экипаж эскадронного миноносца «Стремительный» обращается к Вам с нижеследующей просьбой.

Мы имели большое счастье познакомиться с жителем деревни Лопшеньга Павлом Поздеевым и при этом выяснили, что это лучший пионер деревни, «отличник» боевой и политической подготовки. Участь в школе, Павел участвует в тимуровском движении, хорошо владеет рыбацкой лодкой, по характеру обязателен и чрезвычайно общителен, тянется к знаниям. Это настоящий гражданин Союза Советских Социалистических Республик. Награжден многими знаками отличия Военно-морского флота.

Павел Поздеев, будучи патриотом любимой социалистической Родины, выражает желание в дальнейшем проходить службу в Военно-морских силах СССР. Вы, Нина Владимировна, конечно, знаете, что в ВМФ проходят службу только лучшие сыны советского народа. Павел Поздеев безо всякого на то сомнения тоже может стать таким же. Однако, для этого ему необходимо повысить свой морально-политический уровень, чтобы достойно представлять деревню Лопшеньгу на полях военно-морских сражений.

Зная Вас, уважаемая Нина Владимировна, как горячую патриотку нашей страны и проверенную сторонницу советской власти, убедительно просим Вас принять участие в формировании будущего защитника Родины, пионера-тимуровца Павла Григорьевича Поздеева. Ведь, как утверждают нам классики марксизма-ленинизма, задача воспитания бойца нашей родной партии является самой боевой задачей из всех, которые стоят.

С этой целью просим Вас беспрепятственно и бесплатно пропускать вышеозначенного пионера на все сеансы кино.

Выражаем твердую уверенность, что с этой поставленной задачей Вы, дорогая Нина Владимировна, справитесь надежно и успешно, как это Вы делаете всегда в Вашей нелегкой, но достойной и славной трудовой биографии и в Вашей так нужной советским людям работе. Как сказал товарищ Ленин, именно кино формирует достойные кадры. Будем же следовать его большевистским заветам!

С искренним уважением, экипаж гвардейского орденосного эскадренного миноносца «Стремительный».

В составлении письма участвовали даже офицеры. Хохот при этом стоял такой, что вахтенный матрос Коробицын несколько раз протискивался в кают-компанию, но его безжалостно выгоняли обратно на дежурство.

– Но мы же не гвардейские и не орденосцы, – сомневался кто-то.

Но матрос с тремя лычками настоял:

– Так будет солиднее.

Меня провожали до самого борта, у которого качался мой карбас.

Конверт с письмом я бережно уложил в широкий брючный карман. Перед самой моей посадкой прибежал лысенький морячок небольшого роста и протянул еще один конверт.

– Передай его Клавде Федотовой, – попросил он. – Только обязательно передай.

Я обещал.

Не зная, как надо прощаться с военными моряками, я очень смутился. Но меня похлопали по плечам, потрепали шевелюру и весело сказали:

– Прощай, брат. Спасибо, что приехал.

Уже отплыв от корабля метров на пятьдесят, я встал с «банки» и помахал рукой. Мне тоже помахали.

Я был счастлив.

А по берегу нервно расхаживала моя мама со старшей сестрой Лидой.

Конечно, в другой раз мне бы крепко перепало от той и другой. Мама, точно, стукнула бы чем-нибудь пару раз по заднице. Ведь меня не было столько времени, и я болтался где-то в море один.

Но тут на берег навстречу им из лодки вышел бравый морячок, весь в наградах и в бескозырке. Прижал руку к виску и весело крикнул:

– Есть! Так точно! Никак нет!

Это было что-то!

Мама моя стояла с расширенными глазами и всплескивала руками, а сестра Лида сказала:

– Змееватик.

Она всегда называла меня так в минуты гнева или восторга.

Я поставил на якорь карбасок и, звеня значками, вместе с мамой и сестрой пошел к дому.

Стоял теплый и ясный вечер светлого северного лета, и мне казалось, что сквозь этот прозрачный воздух меня с удивлением разглядывает вся деревня: что за моряк такой выискался?

На крыльце сидел отец, только что пришедший с работы, и курил любимые папиросы «Красная звезда». Он увидел меня, и папироса чуть не выпала у него изо рта, чудом зацепившись за краешек губ.

Вероятно, он, старый военмор, отслуживший всю войну на Северном флоте, в жизни не видел столько значков на морской форме. Отец встал, вытянул руки по швам и, улыбаясь, доложил:

– Товарищ адмирал, за время Вашего отсутствия в нашем доме ничего плохого не случилось. – Потом добавил: – Хорошего – тоже.

Вся семья слушала мой рассказ о корабле, о пушках, о военных морях, о компоте. А отец по этому поводу выпил две рюмки водки, и когда мама унесла бутылку и куда-то спрятала, он сходил на поветь и пришел оттуда с кружкой браги. На повети стоял деревянный ушат с недавно поставленным на брожение суслом, и хотя оно до конца не выбродило, отец бражку выпил с удовольствием.

Потом мы долго с ним сидели на крылечке, и отец с мокрыми глазами рассказывал о войне, о походах, о морских боях, о своих товарищах. Он впервые разговаривал со мной как со взрослым, как с равным.

Наутро я прямо в форме пошел искать Клавку Федотову. Нашел ее на речке, где та полоскала белье. Протянул ей конверт, на котором было написано: «Клаве Федотовой от матроса Николая Кислицына».

Клава вытерла руки о подол, недоверчиво взяла конверт и, вытаращив на меня свои голубые глазки со светлыми ресницами, спросила с зарождающимся интересом:

– Кто эт такой, Николай Кислицын? Что эт за чувырла такая?

– Сама ты чувырла, Клавка! Кислицын – это лучший матрос на боевом корабле.

– Наверно, лучший болтун. Такой же, как ты. Ишь, вырядился, – ехидно ухмыльнулась Клавка. – Прямо «варяг» какой-то.

Обиделся я на Клавку за Кислицына и за себя и ушел в деревню.

Странно, но Клава нашла меня уже часа через два на краю деревни, около рыбзавода. Она пришла одетая в нарядное платье. Глаза ее горели глубоким голубым светом.

Она взяла меня за руку, отвела в сторонку, усадила на бревнышко и, глядя мне в глаза, стала расспрашивать:

– Какой он, этот моряк? Как он выглядит? Женат ли он? Пользуется ли уважением в коллективе?

Голос у Клавки был при этом тревожный и ласковый одновременно. Видно, письмо замечательного матроса Кислицына взволновало ее девичью душу. Высокая грудь ее от дыхания поднималась еще выше.

Не знаю почему, но я стал Клавке бессовестно врать.

Я преподнес этого маленького лысоватого худенького матросика статным красавцем с густой шевелюрой.

Вероятно, непроизвольно я желал Клавке большого женского счастья.

– А какой у него рост? – с волнением в голосе поинтересовалась она.

– А ты встань, и я сравню.

Клава поднялась, задрала подбородок.

– Ты ему примерно до носа будешь, – успокоил я ее.

– Это нормально, – Клава махнула рукой и опять села.

Она какое-то время молчала, глядела на воду, потом сказала будто бы самой себе:

– Он такой красивый, Николай Кислицын, а я такая деревенская... Наверно, я ему не понравлюсь.

Такой подход меня возмутил. Федотова была настоящей красавицей, мне самому она нравилась, и я сказал вполне честно:

– Клава, ты очень красивая, правда, очень. – И совсем обнаглел, я шарахнул: – И сам бы на тебе женился, когда подрасту.

Клава вскочила, звонко засмеялась, наклонилась и погладила легкой своей ладонью меня по щеке.

– А ты ничего, матросик, славненький. Только маленький совсем, а мне замуж надо, понимаешь?

Она отвернулась и пошла по морскому берегу босиком, в новом нарядном платье. От меня. К матросу Николаю Кислицыну.

Наверно, они потом долго переписывались, верещали друг дружке всякие телячьи нежности, сю-сю там, ма-сю.

После службы Николай и в самом деле приехал к нам в деревню. Приехал за своей невестой, Клавдией Федотовой.

Они долго гуляли по морскому берегу, по полям и все время звонко над чем-то хохотали. Им было хорошо вдвоем.

Из маревой дали засыпающего моря кричали им протяжные песни полусонные чайки, качающиеся на серо-бирюзовых, гладко-покатых волнах.

И худенькая фигурка Николая Кислицына все касалась и касалась плотного поморского тела Клавдии Федотовой.

А потом они уехали. Наверно, из них получилась прекрасная пара.

Больше Клавку я никогда не видел. Есть такое свойство в природе: женщины покидают свой дом, уходят за своим избранником и никогда больше не возвращаются к родному порогу. Такова суть женщины. Мужчины так не могут. Мужчине всегда нужно умереть там, где он родился.

А в тот день вечером был сеанс фильма про Фантомаса.

Я подошел к киномеханику Нине Владимировне и отдал ей письмо от экипажа эскадренного миноносца «Стремительный».

Она долго его читала и почему-то все время посматривала на меня с большим удивлением, как на странную вещь, неожиданно перед ней появившуюся. Кончив читать, она на меня уставилась, сделала глотательное движение и смогла только сказать:

– Ну-ну, проходи, тимуровец.

Никогда я не получал такого удовольствия от кино, как в тот раз. Но надо сказать и горькую правду: этот праздник продолжался недолго.

Уже в следующий раз Нина Владимировна, как ни в чем не бывало, потребовала от меня денежки за билет, и опять пришлось мне лезть на печку. А письмо моряков сгнуло где-то в глубине билетной сумки Нины Владимировны. Может быть, лежит до сих пор там.

А значки с моей груди тоже быстро исчезли.

Какие-то на что-то обменял, другие кто-то попросил поносить и не вернул потом, какие-то просто потерял. Форма тоже быстро истрепалась.

Давно это было. Как давно!.. Но до сих пор в душе живет ощущение праздника, которое я испытал в тот летний солнечный день.

Я благодарен этому дню, благодарен военным морякам, согревшим, может быть, и мимоходом мою мальчишескую душу, благодарен Летнему берегу Белого моря, ласкавшему босые мои ноги.

Не знаю, зачем к нашему берегу приходил тот корабль. Может быть, для того, чтобы память о нем сохранилась на всю жизнь.



## Первый бал Пеструхи Лесная быль



### 1

Топот звериных лап Глухарка слышала давно, но надеялась, что звери пройдут мимо. Так было уже не однажды. На этот раз избежать беды не удалось. Отодвинув длинной мордой хвойные ветки, Собака удивленно уставилась на нахохлившуюся птицу. Вздрагивающий черный нос ее со свистом втягивал воздух, отвисшие мокрые уши блестели коричневой вьющейся шерстью. Морда Собаки была слишком близко, и Глухарка не выдержала. Она с тяжелым треском сорвалась с гнезда и, разбрызгивая с крыльев влагу, полетела прочь. Глухарка хотела увести Собаку как можно дальше. Для этого она летела медленно над самой землей, время от времени складывая крылья и почти плюхаясь на землю. Вначале Собака, похоже, поверила в эту игру. Она стремительно мчалась за Глухаркой, делая рывки вперед и норовя схватить ее зубами, когда та припадала к земле. Потом ей это, видимо, надоело, и Собака, бросив бесполезную погоню, вернулась к гнезду Глухарка села на вершину сосны, тревожно и плачуще завохтала. Она поняла, что гнездо погибло. Теперь яйца были совсем беззащитны.

Собака, стоя над ними, с любопытством рассматривала эти большие желто-коричневые шары. Подобных ей раньше есть не приходилось. От них дурманяще пахло крупной лесной птицей. Подстрелив такую, ее Хозяин всегда радовался. Собака была сыта, но она не могла бросить столь большого лакомства. Сунув морду в самую середину гнезда, она осторожно обхватила зубами яйцо и затем, немного запрокинув голову и слегка оскалившись, стиснула яйцо языком. Скорлупа треснула, и густая пьянящая жидкость залила всю пасть. Потом Собака точно так же подхватила второе яйцо и вновь запрокинула голову, но в этот момент услышала зов Хозяина. Так, с яйцом в пасти, размахивая в веселом галопе длинными ушами, она разом выбежала на дорогу, по которой шел Хозяин. Яйцо Собака положила перед ним, оскалив зубы

и обнажив темные десны, к которым прилипли кусочки скорлупы. Хозяин, к ее удивлению, не разделил этой радости и вместо поощрения за принесенный шар, так пахнувший той самой большой птицей, сердито сказал:

– Глупая, мы этот выводок лучше осенью перестреляем. Куда он денется!

Потом он прицепил Собаку на поводок и перед тем как уходить раздраженно пнул лежащее на земле яйцо, отчего скорлупа разлетелась в разные стороны, а от желтка на черной весенней земле осталось красное пятно, похожее на кровоподтек.

Все это старая Глухарка видела с вершины сосны. Она сидела там, еще долго дрожа от страха, что Человек, самый опасный враг глухарей, и его Собака могут вернуться к ее гнезду. Мелкий частый холодный дождь все капал и капал с неба, проникал ей под перья. Глухарке было холодно, но она, съездившись и дрожа, все сидела на вершине дерева и смотрела в сторону, куда ушли ее враги.

Солнце тронуло острые верхушки растущего на дальних холмах леса, когда она вновь села на свое гнездо. После захода солнца Глухарка встала и быстро пошла к старому брусничнику. Там она недолго поклевала прошлогодние, но все еще хранящие сочность листья, подергала выбивающуюся из-под земли на южном склоне небольшого кособорья молодую зелень и вернулась к яйцам.

Ночью Глухарка почти не спала. Дрожь, вызванная появлением Собаки, уже прошла, но страх перед тем, что Собака теперь знает о ее гнезде и может вернуться, чтобы съесть остальные яйца, не покидал ее. Сквозь набегавшую иногда дрему Глухарка слышала скачущих где-то зайцев, шорох шагов лисиц и куниц, вышедших на охоту, треск сучьев, ломаемых медвежьими лапами и лосиными копытами. Глухарке было страшно. Когда шаги шуршали поблизости, она вытягивала шею и привставала над гнездом.

Перед восходом солнца она снова немного побродила по лесу и поклевала иглы молодых сосенок. Теперь ей опять надо было целый день без движения сидеть в гнезде под маленькой елкой, среди больших, шумящих на ветру деревьев, среди леса, растущего на краю Клюквенного болота, где когда-то родилась она сама.

Вставало солнце, наступал новый день конца весны. С болота доносился неуверенный звон – первые «тэкания» молодых самцов. Там пробовали свои силы петухи-первогодки. Среди них были и сыновья Глухарки. Старые самцы петь уже перестали. Они перебирались теперь в глушь, в еловые крепи, чтобы начать там линьку. Старания «годоваловиков» перебивали тетерева. Бросив свои токовища на мхах, они повсюду сидели на вершинах деревьев и, распушив белые с черными веерообразными отворотами хвосты и вытянув вперед шеи, тянули бесконечные воркующие песни, прерываемые громким чufыканьем.

Прохладный утренний ветер шевелил ветви деревьев, по логам гомонили весенние ручьи, сквозь просветы в хвое видны были маленькие белые облака, бегущие по голубому небу. Дождь кончился. Лесные птицы неумолчными трелями приветствовали подъем солнца.

Через три недели у Глухарки вывелось шестеро птенцов.

## 2

До конца первого летнего месяца Глухарка не решалась уводить свой выводок далеко от гнезда. В первые дни после появления на свет птенцы были совсем слабыми и бегали вокруг нее, спотыкаясь о мелкие коренья, увязая в негустых порослях молодой травы. Когда начался дождь, птенцы дружно кидались к Матери и залезали ей под живот и крылья. Таким же образом они и спали. Главной проблемой была пища. Здесь, в лесной чащобе, доставало основного корма глухаря – хороших ягодников и муравейников. Они в изобилии водились на Старых вырубках, но вести туда птенцов было еще рано. Поэтому Глухарка сначала обучила их ловить насекомых. Первой эту науку постигла Пеструха, любимая дочь Глухарки, самая смыш-

леная и подвижная. (Мать назвала ее так за белые пятна по бокам у основания крыльев.) Она долго бегала за крупным жуком, долбила его слабеньким своим клювиком и наконец попала-таки между крыльев. В трапезе приняли участие все птенцы. Мать внимательно следила за действиями Пеструхи и тихо одобрительно квохтала. Вскоре весь выводок дружно ловил муравьев, клевал жучков и мух, выковыривал из мягкой земли личинок.

Когда птенцы окрепли настолько, что стали устраивать между собой дружеские потасовки, Глухарка повела их на Старые вырубki. По дороге случилось происшествие, которое послужило хорошим уроком для всех: произошла первая встреча выводка с хищником.

Ястреб-тетеревятник напал сзади. Глухарята, шедшие в это время за Матерью по пологому склону холма, не в меру расшалились и, несмотря на призывные квохтанья Глухарки, отстали от нее и разбрелись. Ястреб намеревался схватить птенца, шедшего позади всех, но, нападая с высоты, он задел ветви березы и промахнулся. Глухарята сразу разбежались в разные стороны и, затаившись в траве, смотрели, как их Мать бесстрашно схватилась с Ястребом. Тот не выдержал схватки и улетел прочь. В воздухе кружились его и Глухаркины перья. После этого птенцы весь путь послушно шли следом за Матерью.

На Старых вырубках еды было много. Глухарята всем выводком гонялись здесь за кузнечиками, клевали муравьев на их утоптаных дорожках-переходах, ловили червячков в старых трухлявых пнях, срывали соцветия ягод. Высокая трава попеременно с жухлой прошлогодней растительностью, старыми бурыми листьями, густые ягодники надежно скрывали серо-коричневых молодых птиц. В июле в таких низменных солнечных местах начала поспевать морошка, и глухарята нажились на новом лакомстве. Потом поспела и черника. К концу месяца у четверых самцов выводка пробились на боках первые перья взрослого наряда, и они друг перед другом ужасно важничали и дрались по пустякам.

### 3

Вскоре Пеструха потеряла одного из своих братьев. Как к выводку подкралась Рысь, не заметила даже Мать. Пеструха вместе со всеми бродила среди длинных стеблей гоноболей, срывала крупные голубые ягоды, когда услышала какую-то возню, затем тревожное материнское квохтанье и шум ее крыльев. Вслед за нею на деревья поднялся и весь ее выводок. Уже сев на сук, Пеструха увидела прямо под собой страшную картину: Рысь терзала ее Брата. Пеструха прыгнула вниз и, хлопая слабыми крыльями над лесной кошкой, попыталась угрожающим свистом отпугнуть хищника, но Рысь подняла вдруг облепленную перьями пасть и в высоком прыжке хотела достать когтями и Пеструху. Та еле успела вернуться и снова села на дерево. Мать к тому времени отлетела далеко в сторону и теперь собирала выводок. Пеструха полетела к ней.

В последний летний месяц уже подросшие глухарята много времени проводили на брусничниках. Эта плотная вкусная ягода в изобилии водилась на чистых сосновых холмах, откуда хорошо просматривалось близлежащее пространство. Это помогало своевременно обнаруживать врагов. Иногда птицы находили на таких возвышенностях оголившийся песчаный грунт и подолгу купались в песке и пыли, набивая их под крылья и перья. Эти «ванны» спасали глухарят от мелких насекомых и паразитов, проникающих к самой коже. Однажды, в конце месяца, во время очередного такого купания выводок услышал первые резкие хлопки, гулко разносившиеся по всему лесу. Глухарка тревожно вытянула шею. В лесу опять появились Охотники.

4

Пеструха старалась во всем походить на Мать. Ей нравилось, что та все знает в лесу и все умеет. Она гордилась, что Мать может быстро найти пищу, вовремя предупредить об опасности, укрыть себя и выводок от дождя и ветра.

В то раннее утро Пеструха вместе со всеми бродила по травянистой просеке. На стеблях и листьях блестели мелкие капли росы. Птицы сбивали их, и позади, на травяном ковре, украшенном белым росистым покрывалом, оставались дорожки-следы. Пеструха, как и всегда, держалась поблизости от Матери и искоса наблюдала за ее действиями. Неожиданно Глухарка высоко подняла голову и остановилась. То же самое сделала и Пеструха.

Она увидела стоящего неподалеку и глядящего на них Зверя. Зверь был странный, длинная морда, отвисшие болтающиеся уши, покрытые волнистой коричневой шерстью, длинное поджарое туловище. Стоял Зверь тоже как-то нелепо: голова вытянута вперед и напряжена, одна лапа застыла в воздухе. «Так это же Собака», – со страхом поняла Пеструха. Именно такой ее описывала Мать. Тогда надо скорее улетать. Ведь Собака – верная служанка Человека и всегда ходит по лесу вместе с ним. Но Мать почему-то медлила. Наверно, она боялась подвергать выводок опасности и поднимать его, надеясь, что Собака не заметила их. Вслед за Пеструхой и Глухаркой Собаку увидели и другие глухарята и тоже остановились. Потом послышался вскрик, и Собака медленно сделала вперед один шаг, потом другой...

Мать заквохтала и, порывисто замахав крыльями, стала взлетать. Вслед за нею поднялись все.

– Старку бей, старку! – услышала Пеструха еще один крик.

Раздались выстрелы. Пеструха увидела, оглянувшись, как Мать и один из ее братьев – самый маленький из всех и меньше всех обросший черными перьями – упали на землю. Пеструха села на толстый сук высокой густой ели и смотрела оттуда, как Мать билась на земле и пыталась встать, но мешало перебитое крыло, попавшее ей под ноги.

Подняться Глухарке не удалось. К ней быстро подбежала Собака и схватила ее за голову...

Брат умер сразу и совсем не бился. Тут Пеструха впервые увидела Охотников, тех самых опасных и коварных врагов глухарей, о которых Мать подолгу рассказывала выводку. Они вышли из-за кустов, огромные, двуногие, и подошли к убитым птицам.



Спрятав Мать и Брата в свои мешки, Охотники, довольные, возбужденные, переговаривались:

– Хорошо я ее срезал, а! – сказал один другому – Теперь их всех возьмем.

– Дай Бог не сглазить, – ответил тот.

После этого они долго и внимательно рассматривали близстоящие деревья, выискивали спрятавшихся там глухарят. Между стволов бегала Собака и, поднимая морду, тянула носом воздух.

Наконец раздался еще один выстрел, и на землю с негустой сосны упала Сестра Пеструхи.

Она в страхе выбрала дерево с редкой кроной и не смогла надежно на нем укрыться.

Испугавшись неожиданного и резкого выстрела, Пеструха и оставшиеся два ее брата сорвались с деревьев и полетели в разные стороны.

Раздалось еще несколько страшных хлопков, с березы, мимо которой Пеструха пролетала, посыпались листья. Она улетела далеко и забралась в самую гущу огромной ели, растущей на склоне холма неподалеку от озера.

Она сидела там, дрожа от пережитого, до самого вечера. Что случилось с ее братьями, Пеструха не знала.

Ночью ей было страшно одной, без Матери и выводка, в огромном, полном врагов лесу, и она не сомкнула глаз, прислушиваясь к звукам ночи и ежась от ветра, воющего в ветвях.

Одного из братьев она нашла лишь утром следующего дня. Тот тоже искал ее и ждал неподалеку от места гибели Матери.

Так Пеструха первый раз встретилась с Охотником.

Она запомнила эту встречу на всю свою жизнь.

## 5

Середина сентября. В безоблачную погоду перед восходом солнца появляются первые утренники – легкие, робкие и скоротечные заморозки. Поднимающийся солнечный шар быстро и властно прогоняет их прочь мощным еще теплом своих лучей.

Стоящие на открытой северной стороне березы начали одеваться в золотой наряд, и порывы сильного ветра сдувают уже с них первые листья. Наступает осень. Выводки рябчиков слетаются к лесным речкам и ручьям, где в смешанных разнопородных деревьях буйно красуются алые пятна вызревшей рябины. Зайцы-беляки, предчувствуя скорую линьку, чешут свои бока о шершавые стволы.

Пеструха с Братом, почти все время проводившие до этого на Клюквенном болоте, открыли вдруг для себя новое лакомство. Его показал им Старый Глухарь, который, как и они, подолгу бродил по болоту и склевывал большие темно-красные Ягодины, лежащие из-за своей тяжести прямо на мху.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.